



ИВАН БУНИН

Митина любовь  
Роман. Повести. Рассказы



Библиотека Всемирной Литературы

Иван Бунин

**Митина любовь. Роман.  
Повести. Рассказы**

«ЭКСМО»

1913, 1914, 1915, 1916, 1924, 1925, 1926, 1929, 1932

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Бунин И. А.**

Митина любовь. Роман. Повести. Рассказы / И. А. Бунин —  
«ЭКСМО», 1913, 1914, 1915, 1916, 1924, 1925, 1926, 1929,  
1932 — (Библиотека Всемирной Литературы)

ISBN 978-5-04-108947-4

Иван Бунин – первый русский нобелевский лауреат, трижды был награжден Пушкинской премией, самый молодой академик Петербургской Российской академии. В XX веке продолжил традиции великой русской литературы XIX века, мастерство И. Бунина настолько тонко и отточено, «...что все описанное – совсем не описанное, а просто-напросто существующее», по мнению Ф. Степуна.

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-108947-4

© Бунин И. А., 1913, 1914, 1915, 1916,  
1924, 1925, 1926, 1929, 1932  
© ЭКСМО, 1913, 1914, 1915, 1916, 1924,  
1925, 1926, 1929, 1932

## Содержание

Повести и рассказы	7
Святые	7
Чаша жизни	14
I	14
II	14
III	15
IV	15
V	16
VI	17
VII	18
VIII	20
IX	20
X	22
XI	22
XII	23
Господин из Сан-Франциско	25
Грамматика любви	36
Легкое дыхание	41
Митина любовь	44
I	44
II	45
III	46
IV	47
V	48
VI	49
VII	50
VIII	51
IX	52
X	53
XI	54
XII	55
XIII	55
XIV	56
XV	59
XVI	60
XVII	61
XVIII	62
XIX	63
XX	64
XXI	66
XXII	67
XXIII	67
XXIV	68
XXV	69
XXVI	70
XXVII	71

Конец ознакомительного фрагмента.

73

# **Иван Бунин**

## **Митина любовь. Роман. Повести. Рассказы**

© Бунин И.А., наследники, 2021

© Паустовский К., послесловие, наследники, 2021

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

\* \* \*

*Как ни грустно в этом непонятном мире, он все же прекрасен...*  
**И. Бунин**

## Повести и рассказы

### Святые

Дом был полон гостей, – гости бывали часто и гостили подолгу, – светлая морозная ночь сверкала звездами за мелкими стеклами старинных окон. К кафельным печкам подойти было нельзя – так накалили их. По всем комнатам горели праздничные лампы, в самой дальней, диванной, даже люстра, мягко игравшая хрусталем, смугло-золотистым от времени. В гостиной сдавали на трех зеленых столах, за высокими канделябрами, в блеске свечей. В столовой стол был уставлен закусками, посудой и разноцветными графинами: гости то и дело выходили из гостиной, наливали рюмки, чокались и, потыкав вилками, возвращались к картам. В буфетной кипел ведерный самовар: старик-буфетчик волновался, ссорился с Агафьей Петровной, шипел и замахивался серебряной ложкой на Устю, накладывая граненые вазы вареньем, наливал стаканы черным чаем и посылал подносы в гостиную. Вся лакейская была завалена хорошо пахнущими шубами, шапками и лисьими поддевками. А там, в дядиных комнатах, сидел Арсенич.

Дети заходили и в лакейскую и в буфетную, стояли возле играющих в гостиной; от нечего делать таскали со стола в столовой кружочки колбасы, смотрели в нижние стекла: видно было глубокое небо в редких острых звездах, снег, солью сверкавший под луною, длинная волнистая тень дыма из поварской; а дальше, за белыми лугами – высокие кособоры, густо поросшие темным хвойным лесом, сказочно посеребренным луной сверху. Подражая гостям, дети говорили друг другу «вы».

– Мить, а Мить, – сказал застенчивый Вадя, – вы нынче пойдете к Арсеничу?

– А вы? – спросил Митя, как всегда, очень строго. – Я непременно пойду.

И, оглянувшись на гостиную, на буфетную, – ходить к Арсеничу запрещалось, потому что у него было очень холодно, – дети медленно, как будто гуляя, перешли зал и вдруг быстро шмыгнули за небольшую дверку возле печки в углу – в те необитаемые комнаты, где жил и умер дядя-охотник и где теперь гостил Арсенич, раза два-три в год приходивший повидать своих господ.

Дом жил своей жизнью, веселой, праздничной, эти комнаты своей – бедной, всем чужой. Но Арсенич наслаждался своей близостью к той, первой. Два-три раза в год барыне докладывали, что он стоит у крыльца. Она приказывала сказать ему, чтобы он шел в дядины комнаты, и Агафья Петровна посылала ему самовар, колбасы, белого хлеба, графинчик водки. Арсенич, сидя весь день один-одинешенек, пил чай, курил, сладко плакал и поздно ночью, – в одно время с господами, – укладывался спать, усталый и растроганный, на соломе возле печки. Прожив так с неделю, он искал случая увидеть барыню и, накла нявшись ей, несколько раз поймав ее руку для поцелуя, удалялся на деревню, на свою квартиру у мужика. Это и называлось – повидаться со своими старыми господами.

Дядиных комнат было две. Теперь в первой комнате было темно, только на полу лежали и наполняли темноту таинственным лунным светом два белых частых переплета; пахло тут седлами дяди и крысами. В другой сумрачно, дрожащим пламенем полыхала на кухонном столе возле остывшего самовара толстая сальная свеча в черном жестяном подсвечнике и густыми волнами плавал дым: посылали Арсеничу и табаку, но слабого, турецкого, и Арсенич, чтобы накуриться, принужден был курить без передышки. Топили тут плохо, окно было запушено серым инеем, и от него несло морозом. Большая черная картина висела в углу вместо образа: на руках чуть видной Богоматери деревянно желтел нагой Иисус, снятый со креста, с запекшейся раной под сердцем, с откинутым назад мертвым ликом. Арсенич, взлохмаченный, как

кипень седой, красный и небритый, в истертом дядином пиджаке, сидел, подложив под себя одну ногу в валенке, на табурете возле стола. Он курил толстую вертушку и в какой-то радостной задумчивости плакал горькими слезами, не стирая крупных капель, катившихся по носу. Как всегда, дети, не спуская с него любопытных глаз, подошли к столу и стали пристально разглядывать сизые старческие руки, ворот грязной ночной рубашки, тоже дядиной, и красное, измятое, в колючем серебре лицо. Арсенич, стыдливо отвернувшись, стал искать по карманам свой ужасный носовой платок.

– Вы опять свои дудки курите? – спросил Вадя, остановив большие чистые глазки на этой ветошке, давно и бережно хранимой.

– Опять, сударь, – покорным шепотом, тихо и радостно улыбнувшись, ответил Арсенич.

– И водку пили? – спросил Митя.

– Пил и ее, окаянную...

– Всю?

– Всю-с, – прошептал Арсенич. – Только вы за ради бога не сказывайте мамаше про мои слезы. Это я не от этого-с. Сами изволите знать – не первый раз...

– Я ни за что не скажу, – сказал Митя твердо. – А вы? – спросил он Вадю. – Вы ведь тоже не скажете?

Вадя, что-то думая, нежно покраснел, поспешно перекрестился и помотал головой. Из зала доносился смех, говор. Кто-то, на время освободившийся от карт, играл на фортепьяно польку «Анну». Слушать старинные звуки было и приятно и грустно. Слушая и думая что-то, Вадя спросил:

– Вы бедные?

Арсенич вздохнул.

– Бедность не беда-с, и в богатстве, например, пропадают люди, – ответил он. – Мне ваша мамаша мещину выдают и рубль серебром денег, а за квартиру я не бог весть что плачу, всего четвертак в месяц... В этом случае я на Бога не жалуюсь.

– Вы теперь умрете скоро, – сказал Митя.

– Сушая правда ваша-с. Полагаю, даже нонешней зимой.

– А охотником вы были?

– Нет-с, этого не привел Бог. Я у вашего дедушки буфетчиком был.

– Вы о дедушке плачете?

– Ну, что ж о них плакать-с! – сказал Арсенич. – Они, например, еще в сорок осьмом году скончались. Да и прожили по нашему времени немало – восемьдесят семь лет с лишком. Я нонче плакал по поводу блудницы и мученицы Елены, о судьбе ее несчастной...

Из-под печки вынырнула мышь, метнулась было к столу и побежала в темную комнату. Дети проводили ее заблестевшими глазами, потом, облокотившись на стол, опять стали рассматривать глянцевиные рукава Арсенича, жилы на его сморщенной розовой шее.

– Ее казнили? – спросил Вадя, вспоминая других мучениц и мучеников, о которых постоянно рассказывал Арсенич.

– Это уж как водится, – ответил Арсенич. – Только не мечом, не пыткой, а еще хуже того...

– Вам ее жалко?

– Понятно, жалко-с. Только я ведь больше не от жалости плачу, а, например, от своего чувствительного сердца. Это дело-с, по старому преданию, так было, – сказал Арсенич, стараясь не глядеть на детей, отводя от них глаза, опять покрасневшие. – Жила-была, например, самая что ни на есть отпетая блудница, по имени Елена, девушка богатого роду, отменная красавица и бездушная кокетка...

– А где она жила? – спросили дети, перхая от дыма. – В лесу?



– Нет-с, это ей потом Господь привел жить и пострадать за свою верную любовь в лесу, а сперва она проживала в столичном городе, в просторной и чудной квартире, в пирах, в веселии, по балам да маскарадам, – попросту сказать, блуд творила за большие деньги. Была же она, например, все-таки не настоящая госпожа и называлась промеж господ Адель, а брала, конечно, с кого попало, и с пьяного и с тверезого, даже, может, не побрезгала бы приказным творением, будь у того средства. Ездили к ней первые князья и графы, делали ей подарки из последнего, многие даже руки на себя наложили из-за ней... ну только она в этом случае и бровью не вела и была ко всем, например, бесчувственна, как Ниоба, ни к кому не питала привязчивости: была у нее вечная-бесконечная тоска на душе. Такая-с тоска, что и сказать невозможно!

– А вы у ней в гостях были? – спросил Вадя.

– Статочное ли дело-с! – сказал Арсенич. – Я, сударь, холоп простой, дворовый человек всего-навсего. Меня оттуда господа палками выгнали бы; да и поделом было бы!

– А дедушка?

– Дедушка – те иное дело, но только они тогда, может, и на свет не рожались еще. Это, сударь, в старинные времена было, и тому теперь никогда не бывать, теперь век настал бездушный... Ну, так вот я и докладываю вам: была эта Елена просто алчная блудница, и множество господ пропали, например, из-за ее красоты, как червь капустный. Только всходит однажды в ее уборные комнаты, уж этак поздно вечером, главный ее камердинер и докладывает, что желает ее немедленно видеть молодой и прелестный граф из свиты самой государыни императрицы. Она сидит, например, за своим туалетом в одном капоте, чешет бесподобным черепаховым гребнем роскошные волны кудрей и отвечает, что, мол, я бы весьма рада, да теперь слишком поздно, я и так, говорит, из-за своей корысти день-деньской как в смоле киплю и, значит, принять его и осчастливить никак не могу, беру ванну с духами, а потом спать ляжу, меня тоска съела, ненавижу всех, зрить не могу... Слуга удаляется, но только вскорости опять всходит и говорит, что, мол, так и так... граф проиграл в штос все свое состояние и хочет на последние свои средства... – Арсенич при этих словах с трудом овладел голосом... – и хочет, говорит, на последние свои средства провести ночь прекрасной любви... А будучи, например, допущен к ней, несказанно пленил ее своей младостью и томной грустью, и порешили они тут же умереть одной смертью в один час и даже миг. Да Господь-то, видно, не по-ихнему судил! Может, на то вон Ее святая воля была, – сказал Арсенич, поднимая воспаленные глаза и указывая ими на Богоматерь. – Всякие там богини никогда не могли по-нашему страдать и сердечность иметь, они только страсть свою питали, а ведь Она сама за свою любовь к кресту пошла скорбеть... Но только Спаситель ей так сказал: «Не плачь, моя мать, Дева Мария, моя мука – живот вечный отныне и во веки веков...»

И Арсенич, заплакав, на минуту смолк, прижимая рукав к лицу, облитому слезами.

– Все? – тихо спросили дети, дождавшись продолжения.

– Нет-с, не все еще, – со вздохом облегчения сказал Арсенич. – Они, докладывая вам, умереть решились, и, конечно, молодой граф тотчас же скончался, а ее этот яд не мог взять, ей вскорости полегчало, и осталась она еще жить на белом свете, чтобы, например, пострадать и награду получить за свою первую и последнюю любовь... Мужское дело, конечно, иное... мужчина может, и любя свой предмет, прельщаться на других, а уж женщина нет, никогда себе этого не позволит, она, может, оттого и грех делает, что не нашла себе достойного... Ну, вот так и тут. Она, конечно, даже в лице изменилась, исхудела, стала еще прекраснее прежнего и совсем отвратилась, например, от бездушной светской жизни, стала negliжировать своими обязанностями и уж ни за какие блага в мире не соглашалась предать свое тело, полюбивши одного до гробовой доски. Тут, в скором ли, в долгом ли времени, хозяйка оказалась ей недовольна, зачала ее всячески малтретировать, она же безо всякого ответу собрала в ночное время все, например, самоцветные камни и брошки, какие ей надарили, завязала свое голланд-

ское белье в узелочек, да и удалилась в дремучий лес, где, может, только одни орлы скрывают да рыси по дубам прядают. Взяла она, значит, с собой лишь этот узелок да, например, материно благословение, образ Николая-угодника в серебряной вызолоченной ризе, идет по межам куда глаза глядят и плачет горькими слезами, не хуже меня такого-то – конечно, уж от радости, что вырвалась, значит, на волю, под голубые небеса, и доходит до большого стада. Пастух спрашивает, кто она такая, а она безо всякого страха подходит прямо к нему, отдает ему свой драгоценный узелок, всякие свои редкости, снимает с себя роскошные наряды и кринолины и просит его отдать ей свое нищее рубище. Тот, понятно, рад-радехонек, скинул поскорей свой пошлый зипун и прикрывает, например, ее почесть нагое тело. А она, низко ему поклонившись, идет бедной странницей дальше и приходит в тихий монастырь, в прекрасную женскую обитель в этом дремучем лесу, просит стариц принять ее простой послушницей и начинает вместе с ними спасаться, грехи свои, например, замаливать и изо всех сил просить себе у Бога вечной-бесконечной жизни.

– Где тля тлит, – добавил Вадя, вспоминая прежние рассказы Арсенича.

– Нет, сударь, не тля, – сказал Арсенич, – а напротив того, радость безмерная. И вот, по воле Божьей, происходит такой нечаянный случай: оказался в той обители старец древний, живописец крепостной, пожелавший к монахиням на покой удалиться. Писал он, например, всякие образа, всякие священные живописи для ихней церкви и начинает, видя ее красоту и муку, всякий ее самый низкий труд, умолять ее позволить списать с нее образ Царицы Небесной, всех скорбящих радости. Она падает в ноги ему, закликает Христом-богом не делать того. «Я, говорит, великая грешница, я предана вечному унынию, смертному греху, я имею на душе страшную тайну», – ну, словом, почесть признается, что я, мол, и до сих пор не могу расстаться с любовью к одному человеку... да, наконец того, просто и одежда моя не позволяет, я, мол, в черной бедной рясе, а снять ее не могу ни на одну минуту – такой обет Богу дала... Но только тот старец остается, например, непреклонен: говорит, эта одежда разрешается, ты бледна и прекрасна, как мраморный групп, и черный цвет тебе как нельзя кстати... Жалуется, наконец, самой матери игуменьи... А та возьми да и прикажи немедленно же снять этот портрет с нее. Старец, конечно, радуется несказанно, регулярно делает свое дело, остается только венчик золотой округ головы подрисовать и в церковь нести... И уж хотели было так и сделать, как думали, венчик, значит, подрисовать и освятить этот образ прелестный, чтобы в церковь его, например, поставить, как оказывается вдруг страшное, несказанное дело: оказывается, эта девица Елена... ну, просто сказать, тяжелая, беременная, и уж никак нельзя скрывать этого больше, сама природа не позволяет... Боже мой, – воскликнул Арсенич, качая головой, – что тут было делать монахиням! Свет везде бездушен, а ведь она плод любви понесла! Она никогда того положения не знала, не могла, не любя, зачать дитя в своей утробе, а тут полюбила как на грех, а уж раз она стала не простая девица, а мать беременная, как могла она блуд в этом случае творить?

– Они ее убить велели? – спросил Митя.

– Нет-с, хуже, они ее в ночь-полночь в лес выгнали, – сказал Арсенич. – И вот извольте подумать, что она должна была прочувствовать в этом случае? Может, одна Фекла-старница то испытала в сновидении, в хождении своей души по мукам. А ведь, однако, один платочек белый, какой она подала нищему старику и какой ангел на весы, в посрамление бесам, кинул, и то спас ее, всех ее грехов тяжелее оказался!

– А зачем ее выгнали в лес? – спросили дети.

– А куда же-с? – ответил Арсенич. – Конечно, в лес дремучий, непроходимый...

– Где орлы скрывают, – добавил Вадя.

– Истинно-с, где орлы скрывают и всякий зверь необузданный съесть может, – повторил Арсенич с горьким торжеством. – Где дивья темь лесная и одна скала-пещера могла служить ей приютом! А она в той пещере принуждена была дитя родить, и пеленает его, например, чем

может, дерет в этом случае свою последнюю рубашку на свивальнички, а тут, может, всякие рысы голосят, глядят с дубов зелеными глазами и летит и шумит сама птица-Игра, – Арсенич крепко сделал ударение на первой букве, – летит птица-Игра, вся белая с черными крыльями, вьется, кричит, хочет его, например, крыльями до смерти затрепать... И, конечно, не смогли они, беззащитный младенец с матерью, стерпеть такой муки, голоду-холоду, поругания и тут же и скончались, потому что у ней не только молока в грудях, а и хлеба ни синь пороха не осталось для пропитания... И что же тут случилось, какое внезапное чудо! Звери, птицы, и те возрыдали, восскорбели о ней, и такой вихорь поднялся по лесу, что в самую ночь-полночь проснулась вся обитель от такого шума, а древний этот старец, живописец, вскочил, например, с ложа в своей студии, слышит в этом страшном шуме чей-то голос, повелевающий ему поскорее в лес идти, и, как был, так и выбегает вон, всех будит, зовет мать игуменью, зовет самую старую старицу-схимницу и отправляются они, значит, в трех лицах, с огнями, с фонарями, в этот самый непроходимый лес. А там, например, только уж бездыханное тело лежит! Стоит чаща дремучая – и лежит под ней, под сосной, которая певг называется, мать красы неописанной, вся как снег белая, в своей ризе черной, гробной, с мертвым младенцем у бесплодной груди – и горит вокруг ее головы венчик огненный, весь лик ее бледный и ризу озаряет: значит, тот самый, какой не насмелился старец-живописец на своей иконе подрисовать, узнавши о грехе Елены, про то, кто она такая в миру была! Это ли-с не чудо великое, это ли не указание? – воскликнул Арсенич восторженно и горько, глядя на детей вопрошающими красными глазами, от которых еще белее казалась его взлохмаченная седина.

– Ее в монастырь принесли? – спросили дети.

– Понятно-с, куда же больше. И, конечно, с великими почестями отпели и схоронили, как мощи, в самой церкви, даже с младенцем вместе, и к ручке ее со слезами прикладывались... Вот тут-то, небось, и вспомнили, что апостолы-то святые нам наказывали: помните, мол, – великое, несметное множество грехов прикрывает любовь!

Темная свеча полыхала, как лучина, Арсенич смолк и долго молчал в какой-то думе, глядя на свою руку и на ветошку, зажатую в ней. Митя пристально и серьезно ковырял подсвечник, облитый застывшим салом. Вадя не сводил с огня неподвижных и уже дремотных глаз. В зале опять играли польку «Анну», и кто-то, смеясь, кричал: «Не пускать, не пускать!» Вдруг Вадя очнулся и спросил охрипшим голосом:

– А вы будете святой?

Арсенич качал головой.

– Ах, сударь, какой вы грех великий говорите! Да я, как пес какой, округ господ весь век свековал, дня одного страдания не знал! За что же награждать-то меня?

– А вы это все сами выдумали?

– Боже избави! Я все это по народу слышу да из книг сличаю-с. Сижусь и читаю на гулянках, – у меня книги бесподобные, старинные есть... Душа у меня, правда, не нынешнего века... Мне Господь не по заслугам великий дар дал. Этому дару старцы валаамские только при великой древности, да и то не все, помогают. Этот прелестный дар – слезный дар называется. А уж как я стихи, например, люблю, того и сказать даже невозможно!

И, глядя на детей грустно-радостными глазами, Арсенич, на старинный лад, певуче продекламировал:

И в последний мой час я завет вам даю:  
Посадите вы ель на могилу мою!

За окном, по сугробам, скрипели полозья саней, со скрипом шли к крыльцу лошади, громохатая бубенчиками: кто-то уезжал в светлую морозную ночь, в те туманно-серебристые леса, что сказочно темнели по косограм за дугами.

В зале играли и танцевали польку «Анну», и Арсенич, закрыв глаза, с улыбкой, покачивал в такт головою.

– Ах, но и светская жизнь хороша-с! – сказал он, вздыхая. – И кабы моя воля, прожил бы я на свете тыщу лет!

– А зачем?

– А затем-с, что все бы жил, смотрел, на Божий свет дивился... Очень я расстроился нонче, раздумавшись об этой Елене, вечной печальнице, а потом вспомнил, например, великомученика Вонифатия – и залился в три реки от радости! Тоже простого звания человек был... раб крепостной, только и всего-с... И уж совсем иного склада: отпетый бокутир, беспутная головушка, все нипочем... Пишут его, например, на образах русым... в житии так прямо и сказано: желтоволос был, – значит, весь, небось, в веснушках, ростом не велик и глаза веселые, наигранные, не то что у этой Елены-страдалицы. Был он в городе Риме у госпожи своей Аглаиды стольником, при столе, например, прислуживал – ну, и пленил ее... В житии, конечно, уж очень бездушно сказано – мол, не будучи замужней, жизнь свою протекала в грехах, сделалась преклонна своим похотям, проживала в незаконном сожителстве с рабом своим Вонифатием, а ежели судить в этом случае по человечеству, то, небось, так случалось: увидит его, глянет и усмехнется, – вот, мол, хороший человек, а там и полюбила и приблизила к себе... Ну, живут они таким побытом год, живут другой, она за ним, небось, как за ребенком заботится, – есть такие женщины ласковые, прелестные, богомольные душой, хоть и в грехе всегда, никому, например, не умеют отказать по своей доброте... Он день и ночь с приятелями, на гитарах там на разных играет и вино пьет, – в житии так и сказано: был обуреваем страстями, погрязал в грехах, – а она все дома, шьет, небось, ему что-нибудь, нежно о нем думает, все измены прощает ему, вроде матери... Только-с время-то не ждет, проходят, например, ее лета, стала она над своей судьбой задумываться, иной раз, небось, и поплачет тишком... И, как говорится, насмелилась раз. Дорогой, говорит, мой возлюбленный, есть у меня мечта заветная: я для тебя всем пожертвовала, ни людей, ни Бога, например, не боялась, а живем мы все-таки не венчанные, не признанные – надо нам в дом часть мощей внести, просветить наш дом. Умоляю тебя – снаряди корабль, возьми злата, серебра, дорогих благовонных плащаниц всяких, чтобы, например, эти честные мощи увить, и плыви ты в Киликийскую страну, в город Таре, там много святых страстотерпцев свои главы за Христа сложили... Ну, он, конечно, на это соглашается, снаряжает корабль парусный, устилает его, например, всякими коврами и шелками шамаханскими и отплывает в путь с друзьями-приятелями, с винами, с музыкой, со всякой дворовой прислугой...

– А дорогой буря поднялась? – спросили дети.

– Нет-с, напротив того, все они преблагополучно достигли тех стран. Опустили там все свои якоря, паруса – и отправляется он в этот город Таре, в гостинный дом, чтобы, значит, отдохнуть, погулять, а с утра и за дело взяться. Проходит, например, градские ворота, идет вверх по улице, конечно, беспечный, беззаботный, напевает свою арию и вдруг слышит страшный шум... Спешит, понятно, поскорей туда и видит бесчеловечное смертоубийство: сгрудился народ на площади, кричит, махает руками и требует казни, а посереде площади сидит жестокий судья и мучает лютейшими муками святых христиан, – кого велит надвое рубить, кому глаза выколоть, кому голову отсечь, – а перед ним старец на коленях, преклонился под острый обоюдный меч и восклицает в свой последний час: «Да святится имя Господне, Христово, пречистое!» И как услышал это Вонифатий, этот, например, беззаветный бокутир, так и загорелся весь, – в житии так прямо и сказано: возвеселился духом за имя Господне, – кинулся в самый народ, выскочил наперед всех, да и подхвати, даже не подумавши, тот старцев крик: «Да прославится, мол, имя Господнее! Что вы, мол, делаете, язычники бездушные, пропустите меня – хочу и я пострадать за Спасителя!» Тут все, понятно, к нему – ужасаются за него, уговаривают – побойся, например, за жизнь свою, одумайся, ты чужеземный гость, какое тебе дело...

А он – все свое: «Знать ничего не хочу, недостойны вы меня склонить, прельстить – проклинаю ваших мраморных богов, секите мне голову!» Разорвал единым махом все свои одежды разноцветные, пал на колени середь площади, уронил свою головушку...

– И принял мечное сечение, – добавил Вадя тихо.

– Да-с, и принял мечное сечение, ненаглядная моя деточка! – воскликнул Арсенич и, поймав его ручку, крепко прижался к ней своими холодными губами, на которые закапали горячие слезы. – Ну, да что! – прошептал он потом, отвертываясь и ловя по столу свой платок. – Никуда я стал, совсем никуда!

Утершись, он достал из кармана осьмушку табаку, стал, облегченно вздыхая, вертеть толстую папиросу. Дети долго смотрели то на его седую голову, то на большую дрожащую тень ее на стене, слушая нестройный, уже застольный говор и смех в зале.

– Вам Вонифатий больше нравится? – строго спросил Митя.

– Грешный человек, – прошептал Арсенич, поспешно наклоняясь, чтобы языком заклеить свою вертушку, – уж очень мне его кураж нравится!

*Капри.*

*23 января. 1914*

## Чаша жизни

### I

Тридцать лет тому назад, когда уездный город Стрелецк был еще проще и просторней, семинарист Кир Иорданский, сын псаломщика, влюбился, приехав на каникулы, в Саню Диесперову, дочь заштатного священника, за которой от нечего делать ухаживал консисторский служащий Селихов, пользовавшийся отпуском. Саня была особенно беззаботна и без причины счастлива в то лето, каждый вечер ходила гулять в городской сад или кладбищенскую рощу, носила цветистый мордовский костюм, большим бантом красной шелковой ленты завязывала конец толстой русой косы и, чувствуя себя красивой, окруженной вниманием, все напевала и откидывала голову назад. Из всех ее поклонников нравился ей один Иорданский. Но она его боялась. Он пугал ее своей молчаливой любовью, огнем черных глаз и синими волосами, она вспыхивала, встречаясь с ним взглядом, и притворялась надменной, не видящей его. А Селихов был губернский франт, он держался всех любезнее, смешил ее подруг, был остроумен, находчив и заносчиво, играя тросточкой, поглядывал на Иорданского, даром что мал был ростом. Да и заштатному священнику казался он приятным и дельным молодым человеком, не то что Иорданский, дюжий и нищий семинар. И однажды, в июльский вечер, когда в городе все катались, все гуляли и в золотистой пыли, поднятой стадом, садилось в конце Долгой улицы солнце, когда шла Саня в кладбищенскую рощу под руку с Селиховым, а сзади, среди подруг Сани, шагал сумрачный Иорданский и, покачиваясь, гудел великан Горизонтов, тоже семинарист, Селихов небрежно глянул на них через плечо и, наклоняясь к ее лицу, нежно прижимая ее руку, вполголоса сказал:

– Я желал бы воспользоваться этой ручкой навеки, Александра Васильевна.

### II

Тридцать лет, избегая встречаться, почти никогда не видя друг друга, не забывали друг о друге Иорданский и Селихов. Все свои силы употребили они на состязание в достижении известности, достатка и почета. Давным-давно жили они оба в Стрелецке и, состязаясь, многого достигли. Иорданский стал протоиереем и весь уезд дивил своим умом, строгостью и ученостью. А Селихов разбогател и прославился беспощадным ростовщицеством. Иорданский купил дом на Песчаной улице. Не отстал от него и Селихов: нахло ему купил дом вдвое больше и как раз рядом с ним. Встречаясь, они не кланялись, делали вид, что даже не помнят друг друга; но жили в непрестанной думе друг о друге, во взаимном презрении. Презирали они, не замечали и жен своих. Иорданский на десятом году супружества равнодушно лишился своей некрасивой жены. А Селихов почти никогда не разговаривал с Александрой Васильевной. Вскоре после свадьбы он застал ее однажды заплаканной: в мордовском костюме, с косой, заплетенной по-девичьи, она стояла в спальне перед своим комодом, перед раскрытой венчальной шкатулкой, где лежали фотографические карточки, – между ними и карточка Иорданского, – пудрила свое распухшее лицо и покусывала губы, чувствуя приступ новых слез. Он знал, что это были слезы по молодости, по тому счастливому лету, что однажды выпадает в жизни каждой девушки, что не в Иорданском тут дело. Но простить ей этих слез не мог. И всю жизнь ревновал ее к о. Киру, самолюбивый, как все маленькие ростом. А тот всю жизнь чувствовал к ней тяжелую, холодную злобу.

И шли дни за днями, годы за годами, и осталась у Александры Васильевны одна дума, одна мечта – о доме.

### III

Она была уже слаба, полна и склонна к слезам, к грусти. Состарился и Селихов. Но о своей посмертной воле он упрямо молчал. Аккуратный, спокойный и бескровный, чуть горбясь и заложив холодные пальцы своих всегда дрожащих рук в немодные, прямые карманы панталон, он похаживал по своим чистым пустым комнатам, среди мебели в чехлах, да насмешливо что-то обдумывал. Жизнь прошла, прошла и злоба на глупость людскую, – осталось одно презрение. Он делался все суше и меньше, вынимал золотое пенсне все небрежнее и прикладывал его к переносице при осмотре вещей, приносимых в заклад, все мимолетнее: всему цену знал он теперь! Дом купил он у помещика, старый, с деревянными колоннами, с садом. Дом попался ему удивительный. На дворе в морозном пару краснело солнце – в доме было тепло. На дворе палил летний зной – в доме было прохладно и смешивался с прохладой мирный запах нафталина. Летом часов с десяти до трех пекло как раз ту сторону, на которой стоял дом; но спасали зимние рамы – они никогда не вынимались. Весь дом дрожал и гудел, звеня люстрой, когда вскачь неслись с вокзала и на вокзал извозчики. Они тучей поднимали рыжую пыль, которая покрывала все крыши, все стены и окна на Песчаной улице. Но Селихов на улицу никогда не выходил. Бродя по комнатам, он обдумывал и все изменял завещание. Александра же Васильевна сидела в своей спальне окнами во двор и вязала чулок. Она думала о прошлом, о будущем, порою привычно, не бросая работы, плакала. Под мерный стук часов муж мерно ходил из комнаты в комнату, равнодушно поджидая закладчиков, то слезливых, то не в меру развязных, и с загадочной усмешкой поглядывал в кабинет, на железный несгораемый шкаф с большими железными шишками на скрепах, похожими на большие глаза. Но порою наступала полная тишина: он останавливал часы, садился за громадное старинное бюро – и слышался в доме только неторопливый и прилежный скрип гусяного пера... Но что писал Селихов? Что готовил он ей под старость?

Она знала одно – что ему ничего не стоило обречь ее на нищету, на позор перед целым городом, лишить ее не только денег, вещей, но и этого дома, своего угла. Он ведь не замечал, не видел ее. Он сперва на «ты», а потом и совсем запретил ей разговаривать с ним. При гостях он был иной: со всеми любезен, шутилив, меток на слово, мил и сдержан даже в карточных спорах. Но гости – два-три человека и все одни и те же: помощник исправника, податной инспектор и нотариус – бывали не больше двух-трех раз в году.

### IV

Отец Кир пил. Вечный хмель свой он оправдывал своим умом и тем, что живет он в Стрелецке, в этом полустепном городишке, где только возле неуклюжего собора и базарной площади белеют каменные дома хлеботорговцев, а по окраинам – хибарки, нищета.

Высокий, дородный, он похож был на боярина; долго был силен и красив. В женской прогимназии, где он преподавал, в него влюблялись самые восторженные девушки, те, полные, волоокские, до времени развившиеся, у которых бывают такие чудесные пепельные волосы, такой нежный цвет лица и такой горячий румянец застенчивости: не могли они спокойно видеть его черных соколиных глаз, его синих кудрей, лежавших по плечам, осыпанным перхотью, по коричневому подряснику, сладко пропахнувшему ладаном и табачным дымом. Портили его только зубы, коричневые от неумеренного курения.

Всегда и всем, не делая никаких исключений, он говорил «ты»; ведь были же пастыри, говорившие так вельможам и князьям, даже царю самому. Они поучали, наставляли их сурово, порою обрывали их.

– Благослови, пастух, – сказал как-то один вельможа одному такому пастырю.

– Благословляю, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, самую глупую овцу стада моего, – отвечивал пастырь.

С купцами о. Кир был груб, с начальниками скор и находчив на резкое слово, с вольнодумцами краток и беспощадно логичен. В Стрелецке редко попадали в руки адресатов цветные открытки. Но о. Кир исправно получал даже самые красивые, с видами Кавказа и Крыма – от племянника, молодого, но уже видного чиновника при губернаторе: о. Кир пригрозил почтмейстеру лишением места за пропажу хотя бы одного письма к нему. И весь город говорил об этом с восхищением. Весь город восторгался о. Киrom, как человеком необыкновенного ума и редкой учености. За великую честь считали принять и угостить его. Но приглашения о. Кир принимал разборчиво, в свой же дом никого не пускал.

Дом его, длинный и невысокий, по кирпичу беленный мелом, был далеко виден по широкой улице. Нигде не росло ни единого деревца – разве какая-нибудь кривая яблонька на мещанском пустыре. Но за железной крышей протоиерейского дома пыльно и бледно зеленели верхушки молодых тополей. Везде входом служили калитки. У о. Кира был подъезд (к которому, впрочем, никто не подъезжал).

Вечно заперты были ворота о. Кира, подворотня заложена тяжелой тесиной. Отворялись эти ворота только тогда, когда приезжал водовоз, старичок в кумачной рубаше. Только он один мог свободно выведывать о домашней жизни о. Кира у плечистой стряпухи в сапогах, когда она подставляла под бочку ушат, а он пускал в него толстую струю воды. Только к водовозу был снисходителен о. Кир. Он шутил над ним, шутками отвечал ему и водовоз: это был удивительный человек – он никого не боялся, ни о чем не тужил, доволен был решительно всем.

– Желудь! – громко и строго кричал о. Кир, выходя на крыльцо.

– Аюшки? – беззаботно отзывался старичок, подъехавший на бочке к воротам и с трудом, согнувшись в три погибели, поднимавший тесину.

– Опять неполную привез?

– Опять.

– Смотри: отколочу!

– И то неплохо! Дураков и в алтаре бьют...

Но однажды, узнав, что Желудь привез бочку воды и Селихову, о. Кир и Желудя лишил своего благоволения, навсегда прогнал его со двора долой.

## V

Зимой на Песчаной улице было много снега, было серо и пустынно, весной – солнечно, весело, особенно при взгляде на белую стену протоиерейского дома, на чистые стекла, на серо-зеленые верхушки тополей в голубом небе. Летом было очень жарко. От пыли небо тускло серебрилось. В полдень вскачь неслись извозчики, поспешая к вокзалу, стоявшему за городом, под горой. В час они медленно тянулись назад и везли приезжих, чаще всего купцов с кофрами сумками, которые и теперь еще называются сак-де-войжами, а не то распространителей граммофонов, молодых бритых евреев в английских картузах, с английскими трубочками в зубах. Встречаясь с о. Киrom, кажется, одни эти евреи глядели без страха, хотя он не терпел их, особенно их языка: он однажды, на вокзале, запретил евреям разговаривать на своем языке, сказав:

– Здесь вам не синагога.

Дородный и строгий, проходил он по Песчаной улице, в коричневом подряснике, в палевой соломенной шляпе, поглаживая кончиками пальцев наперсный крест, – и все боялись его. Под забором сапожника когда-то по целым дням играли в лодыжки мещанские подростки; там, бывало, стучали в забор свинчатки и раздавались крики: «Плоца! Жог! Ника!» Подростки эти были лодыри дерзкие. Но от протоиерея они ушли играть подальше – к хибаркам на спуске



к вокзалу. Бегали ватагой мальчишки – запускали в небо змея, постоянно цеплявшегося за струны телеграфных столбов и оставлявшего на них свой мочальный хвост. Но, завидя о. Кира, они рассыпались куда попало. Пробиралась по теневой стороне, по ухабистому тротуару, мимо ворот и окошечек с горшками цветов, какая-нибудь старуха, настолько переломленная, склоненная к земле, что было удивительно, как может идти этот прямой угол. Но совсем не из-за тени, жидкой и короткой, пробиралась она там, а лишь бы не попасть на глаза о. Киру: он не любил старух, этих страстных поклонниц юродивого Яши, обитавшего в старой часовне над склепом в кладбищенской роще, он ненавидел человеческое безобразие. Загорелый мещанин, потевший в черном картузе и толстой чуйке, шел по середине улицы как будто вольно, заложив руки назад: что ж ему, он ведь не здешний, он шел с вокзала. Но, увидавши о. Кира, он с решимостью отчаяния вдруг обнажал голову и быстро направлялся к нему. В левой руке о. Кира была высокая палка с серебряным набалдашником. Правой, приостановясь, он благословлял – широко и властно. А благословив, совал к губам, покорно искавшим ее.

– Откуда? – громко спрашивал он.

– Липецкий, – бормотал мещанин.

– Надень картуз. Как у вас нынче сады?

– Цвели дивно, ваше преподобие, но ветер, Господь с ним... Всю завязь обил.

– Садоводы, а бестолочь. Не знаете своего дела. Ну, ступай с Богом...

Не терпел отец Кир и бродяг, беспаспортных, пришлых людей. Песчаная улица была не избалована зрелищами. Однажды, когда появился на ней серб с бубном и обезьяной, несметное количество народа высыпало за калитки. У серба было сизое рябое лицо, синеватые белки диких глаз, серебряная серьга в ухе, пестрый платочек на тонкой шее, рваное пальто с чужого плеча и женские башмаки на худых ногах, те ужасные башмаки, что даже в Стрелецке валяются на пустырях. Стуча в бубен, он тоскливо-страстно пел то, что поют все они спокон веку, – о родине. Он, думая о ней, далекой, знойной, рассказывал Стрелецку, что есть где-то серые каменистые горы.

Синее море, белый пароход...

А спутница его, обезьяна, была довольно велика и страшна: старик и вместе с тем младенец, зверь с человеческими печальными глазами, глубоко запавшими под вогнутым лобиком, под высоко поднятыми облезлыми бровями. Только до половины покрывала ее шерсть, густая, остистая, похожая на енотовую накидку. А ниже все было голо, и потому носила обезьяна ситцевые в розовых полосках подштанники, из которых смешно торчали маленькие черные ножки и тугой голый хвост. Она, тоже думая что-то свое, чуждое Стрелецку, привычно скакала, подкидывала зад под песни, под удары в бубен, а сама все хватала с тротуара камешки, пристально, морщась, разглядывала их, быстро нюхала и отшвыривала прочь.

Лохматый сапожник, прибежавший позднее всех, крикнул, что надо бить и обезьяну и серба, что этот серб – непременно вор. Все подхватили его слова, зашумели. Но показался вдали о. Кир. И улица мгновенно опустела: все скрылись по калиткам. Он же, приблизясь к сербу, запретил ему ходить по улицам Стрелецка. Он строго и кратко приказал ему уйти вон из города, постараться добиться до родины, исправиться и заняться честным трудом.

## VI

Александре Васильевне порою казалось, что была в ее жизни большая любовь: что схоронила она ее в своей душе, что судьба обошла ее и заставила быть покорной другому, нелюбимому, велела идти разными дорогами с любимым и искать отрады лишь в покорности. Но, может, не о. Кира любила она, а только свою девичью косу, свой мордовский наряд, свою недолгую беззаботность в то далекое лето? О. Кир служил в соборе; но она никогда не бывала там, ходила в Никольскую церковь, – Селихов запретил ходить в собор. Не будь о. Кир священ-

ником, могла бы она мечтать о тайной греховной связи с ним; но Богу предстоял он, тайны рождения, брака, причастия и смерти были в его руках. И страшные слова слышала однажды Александра Васильевна: уже больной, мрачный, во хмелю, встретился о. Кир с Селиховым возле его дома и сказал, грозя посохом:

– Селихов! Помни час, его же не минует ни единое дыхание: это я, – слышишь ли, Селихов? – я, облеченный в траур, в оный день воздам тебе последнее земное целование, окружу тебя кадильным дымом и осыплю лицо твое могильной перстью.

– Кто знает, отец Кир, – ответил ему Селихов с усмешкой. – Кто знает, не придется ли *мне* стоять у возглавия вашего? Не забывайте, что вы пьяница, отец Кир.

Тем кончился их первый и последний спор. Но каково было Александре Васильевне – быть между ними, всю жизнь состязавшимися о первенстве, уступающими друг другу только к могиле дорогу! Одна мечта, одна дума осталась у нее – о доме.

Иметь дом, свой, собственный, где бы то ни было, хотя бы в слободе, на буераках, и какой угодно, – это было заветнейшее желание каждого чиновника, каждого мещанина, каждого сапожника в Стрелецке. И все имели дома, и все переводили их на жен: чуть не весь Стрелецк принадлежал женщинам. Одна Александра Васильевна лила слезы бесплодно.

Все соседки говорили: «мой дом», «у меня в доме». А она? Сколько раз, придя от обедни, усталая, жаркая, полная, с потом в складках горла, стучала она в пол зонтиком и, рыдая, требовала, чтобы отдали хоть приданое ее! Сколько раз кричала, что ведь выгонят ее вон из дому родные Селихова, только умри он!

– Не беспокойся, – отвечал ей Селихов. – Ты раньше меня умрешь. Не забывай, что у тебя грудная жаба.

Он становился все страннее. Он иногда по часам смотрелся в зеркало, удивленно, испуганно искажив брови; дня по два не притрагивался ни к одному кушанью ни за обедом, ни за ужином, говоря, что все пахнет телом. Он купил граммофон – и никогда не заводил его. Но однажды, когда Александра Васильевна воротилась от всенощной раньше времени, не достояв, по слабости, службы, и вошла в дом с черного хода, услышала она крикливые плясовые звуки. А заглянувши в залу, обомлела: Селихов, легкий, старенький, один во всем полутемном доме, дико вскидывал ноги перед трубой граммофона, весело и хрипло кричавшей: «Ай, ай, караул! Батюшки мои, разбой!...»

Только одна яблоня в саду, возле беседки, знала, как много пролито слез старыми глазами Александры Васильевны, как тряслась болевшая от слез голова. А над калиткой селиховского дома была все та же надпись:

«Сей дом принадлежит Петру Семеновичу Селихову. Свободен от постоя».

## VII

Одним из тех, что когда-то, томясь любовью, ходили за Александрой Васильевной в городской сад, был и Горизонтов. Теперь, почти тридцать лет прожив в губернском городе, выслужив пенсию, возвратился и он в Стрелецк, а возвратясь, стал известен Стрелецку не менее, чем о. Кир и Селихов.

Горизонтов кончил семинарию, кончил академию. В молодости он обладал сверхъестественной памятью, необыкновенными способностями и прилежанием. Голос у него был такой, что, напевая свое любимое: «Et tonat, et sonat, et fl uvidum coelum dat...»<sup>1</sup>, он потрясал, как говорится, стекла. Велик ростом и широк в кости он был настолько, что на улицах в изумлении останавливались при встрече с ним прохожие. Далеко мог бы пойти этот человек! Но избрал он путь скромный – учительство. Пройдя его, он воротился на родину и стал сказкой города:

---

<sup>1</sup> И шумит, и гремит, и разверзаются небеса (лат.).

поражал своей внешностью, своим аппетитом, своим железным постоянством в привычках, своим нечеловеческим спокойствием и – своей философией.

Он ходил в крылатке, в широкополой шляпе, в широконосых кожаных калошах, с костылем в одной руке и громадным парусиновым зонтом в другой. К старости он еще более раздался в кости, стал еще более велик, сутул, неуклюж – и был прозван в Стрелецке Мандриллой. Вся купальня дивилась на него, когда в первый раз появился он в ней. Медленно вошел он, насупив свои серые брови и слегка согнувшись, как бы напруживая свои и без того страшные плечи, свои руки, подобные дубовым корням. Старомодно со всеми раскланявшись, внушительно-серьезный и спокойный, он стал раздеваться – и все ахали, видя, как обнажается его сизо-серое тело, его чудовищные ступни, безобразно искривленные, лежащие друг на друге пальцы и ногти их, похожие на раковины. А он хоть бы глазом моргнул – не спеша разделся, не спеша окунулся ровно пятнадцать раз... С тех пор его видели в купальне каждый день. Каждый день вплоть до Покрова купался он. Уже дул осенний ветер в щели пустой купальни, тучи висели за речкой над полями, оловянная рябь шла по воде; а Горизонтов купался. Белел снег по берегам, по бледной синеве туч тянулись на юг последние гуси; но, как только било на соборе час, с косогора, тяжело опираясь на костыль, спускался к речке сутулый гигант в серой крылатке.

Ел он за десятерых. Квартирные хозяйки из себя выходили, отказывали ему. Но ведь он предупреждал! Твердо отчеканивая слоги, уговаривался он:

– Суп, борщ, лапшу прошу подавать мне не в тарелочках: предпочитаю в мисочках. Живность – штучно, а не кусочками. Жаркое обязательно с картофелем, с овощами. Кашу гречневую, равно как и пшеничную, – чугуничками...

– Мандрилла, Мандрилла! – орали мальчишки, стаями гоняясь за ним по Стрелецку. Но он даже не достаивал их взглядом, он шел так же мерно, как изо дня в день входил, бывало, в буйный класс, чтобы начать своей неизменной фразой:

– Итак, повторим сначала предыдущее. Вспомним, что именно предпринял Цезарь, узнав от лазутчиков о грозящей ему опасности со стороны неприятеля...

А философия его заключалась в том, что все силы каждого человека должны быть направлены исключительно на продление жизни, для чего и потребно: полное воздержание от сношений с женщинами, существами суетными, злыми, низкими по интеллекту, полное спокойствие во всех жизненных обстоятельствах, самое точное выполнение своих разумных, продуманных привычек и строжайший уход за своим телом – прежде всего в смысле питания его и освежения водою.

– Nullus enim locus sine genio est!<sup>2</sup> – насмешливо сказал однажды больной и сумрачный о. Кир, встретясь с ним на улице. – Давно слышу я, Горизонтов, о причудах твоих. Ответь мне: юрод ты или мудрец? Зачем живешь ты на свете, уподобляясь тем, которые жили во времена зоологические, на первых ступенях развития?

Горизонтов, держа над головою зонт и опираясь на костыль, долго думал, глядя в землю и насупя свои ежом торчащие серые брови.

– Но скажите и вы мне, отец Кир, – ответил он наконец, – зачем *вы* живете?

– Я тебя не о цели жизни спрашиваю, – сказал о. Кир. – Я тебя спрашиваю о ее образе.

– Но ведь образ соответствует цели?

– Ага! Цели! Ну, допустим. В чем же заключается твоя цель?

– В долголети и наслаждении им.

– Но наслаждаешься ли ты?

– По мере сил и возможностей. Крепко и заботливо держу в своих руках драгоценную чашу жизни.

---

<sup>2</sup> Ни одного места без гения! (лат.)

– Чашу жизни? – строго перебил о. Кир и широко повел рукой по воздуху. – Жизни здесь? На этой улице? Я не могу спокойно говорить с тобой! Ты достоин своей позорной клички!

– В земле не распознаешь костей человека от костей животного, – ответил Горизонтов и медленно двинулся по улице, опираясь на костыль.

## VIII

И вот смолкли наконец шаги в пустых комнатах селиховского дома. На тридцать первом году замужества Александры Васильевны, великопостным вечером, вытащили из толпы, наполнявшей Никольскую церковь, белого, как мел, старичка, хорошо и чисто одетого, в крахмальной рубашке с отложным тугим воротом, в дорогой шубе, в дорогих золотых часах. Через два дня его уже отпевали.

Была пятница, базарный день, началась весна, – мука была извозчикам нырять на колесах по ухабам грязных улиц, мука мужикам тащиться на розвальнях по базару, по мокрому навозу! Трудно было и Александре Васильевне идти за гробом до собора: ее под руки вели дальние родственники Селихова, – лысый остроглазый человечек в николаевской шинели, у которого ветер все заворачивал ленту крашенных волос, вкось от затылка положенную на лысину, и его жена, женщина в трауре, высокая и сильная, никогда не терявшая присутствия духа. Воздух был сырой, острый. И Александра Васильевна была пьяна и от воздуха, и от слез. Поставили у дверей парчовую, желтую с белым крестом крышку гроба, внесли покойника в зимний придел, теплый, низкий, старинный, со многими сводами... Какими радостными рыданиями гремел под ними громогласный хор! Как зловеще возносил руку толстоплечий дьякон, возглашая о упокоении новопреставленного! Как смиренно, под рыдания хора, поклонялся усопшему обступивший его траурный синклит иереев в скуфьях и камилавках и как тяжело, сотрясая пол своею тяжестью, ходил вокруг гроба и кадил на блестящий нос, на рисовое лицо пьяный и торжественно-мрачный, исполнявший свое предсказание о. Кир! Но, Боже, что случилось и с ним за последний год! Уже не страшны были его возгласы, его кажение и поклоны, которыми провожал он из этого бренного мира того, с кем столкнула его судьба на пороге жизни. Страшен был он сам, его ноги, раздутые водянкой, его живот, выпиравший под ризой, его отекавшее, почерневшее лицо, остеклевшие глаза, поседевшие, ставшие прямыми и масляными волосы, трясущиеся руки... Все нежнее и страстнее взглядывала на покойника, – как бы не видя о. Кира, – изнемогавшая от слез Александра Васильевна. А когда ударила по сердцам скорбно ликующая песнь о той обители, иде же несть печали и воздыхания, она вскрикнула и потеряла сознание.

Ее понесли на паперть, на воздух. И Горизонтов, стоявший у входа, вежливо посторонился – и опять загудел, подтягивая хор и оглядывая низкие своды, расписанные шестикрылыми серафимами.

## IX

В больших ветхих сенях с тремя ступеньками и тремя выгоревшими на солнце окнами перестала дергаться ржавая проволока, перестал длинковать под руками закладчиков разбитый звонок. Теперь свободно могла ходить Александра Васильевна по большим пустым комнатам среди мебели в чехлах, столиков, комодов с инкрустацией. Теперь все это было ее: и комнаты, и мебель, и драгоценные вещи на железных красных полочках в глазастом несгораемом шкапу, и двор, и корова в сарае, и сад, и завалившийся забор сада: в двадцать первый раз в здравом уме и твердой памяти переписанное завещание сделало ее полной хозяйкой всего этого, к великому ее удивлению и даже растерянности. Все в городе говорили, что вот может она пожить наконец

в свое полное удовольствие. А она была сбита с толку, жизнь для нее стала пресна, как та просфора, которую с усталым лицом ела она перед чаем, воротясь от обедни...

На Святой, на Фоминой по целым дням трезвонили колокола над городом – и казалось, что это трезвон в честь ее новой жизни, ее первой радостной весны. А вкуса к жизни уже не было! Она обходила комнаты, и порой жалостная улыбка довольства морщила ей губы. Но дрожала голова, дрожали руки – что ей было делать с этими комнатами? Приходила кухарка. Александра Васильевна была ласкова с ней – и не знала, что заказать на обед, на ужин. Почти каждый день она бывала в Никольской церкви – и всегда ужасно утомлялась. Была она полна при низком росте, с жидкими пепельно-седыми волосами и грустным взглядом бесцветных глаз. Дома она носила темное старушечье платье, старушечьи туфли. К обедне собиралась долго и выходила с зонтиком, в крохотной шляпе на макушке, в черном бурнусе со стеклярусом. Все слеза набегала на ее левый глаз, и все подтирала она ее за обедней батистовым платочком, устало глядя на иконы над царскими вратами. Ноги ныли, в церкви было жарко, душно, многолюдно. Горячо пылали свечи, горячо лился солнечный свет на толпу из купола. Страшно заносил руку дьякон, поднимая толстые плечи и готовясь оглушить многолетием царствующему дому и святейшему правительствующему синоду. Но что ей было до синода! С тоской чувствовала она, что не о чем стало ей молиться. Только о Царстве Небесном разве? Да, но какие права были у нее на него? Что она такое сделала? За что было награждать ее?

Однажды в апрельский день она пошла в кладбищенскую рощу – хотела просто погулять, развлечься, вспомнить прежнее, молодое время, а сказала кухарке, что хочет посмотреть могилу мужа. Было тепло, легко, все радовало – и воздух, и небо, и белые облака, и весенний простор. Но сколько раз останавливалась она на зеленом выгоне, поднимаясь на отлогий изволок к роще и смотря на город, на его крыши и колокольни, на овраги, на серо-зеленый дымок одевающихся лозин и мещанские хибарки по оврагам! А в роще, еще голой, зазеленевшей только снизу, было еще очень сыро, в проходах между могильными памятниками стояла жидкая грязь. Хорошо, приятно, молодо, но все-таки чересчур буйно шумели грачи, в несметном количестве наполнявшие вершины старых деревьев. Нужно было проходить мимо розовой часовни над склепом купца Ершова, где сидел Яша, а он мог высунуться из окошечка и крикнуть что-нибудь иносказательное, зловещее... И, спотыкаясь, горбясь, придерживая подол, Александра Васильевна спешила, спешила мелкими шажками пройти дальше – и сама не заметила, как пришла к могиле мужа! Вовсе не желала она того, шла за другим, а пришла. И, усталая, опустилась на ближний могильный камень, тупо глядя на эту еще не оправленную могилу. Не было ни дум, ни воспоминаний. Было только чувство горькой весенней нежности к кому-то – не то к себе, не то к о. Киру, не то к Селихову... Да, да, и к нему!

А когда она возвращалась домой, думая только одно: дай бог встретить извозчика! – Яша таки подстерег ее. Из часовни выходили и крестились бабы и мещане, некоторые со слезами. И вдруг выскочил на порог сам Яша. Он был небольшой, тощий, – ему было уже лет восемьдесят, – в длинном халатике, подпоясанном веревкой, в алой бархатной шапочке, наде той набекрень. Усы, бородку он выстригал – они торчали у него колючими серыми пучками возле глубоко запавших пепельных губок. Глазки у него были хитрые-прехитрые. Поглядев на Александру Васильевну, он сделал из руки щиток над глазами и быстро засеменил к ней.

– Радуйся, Афродита Розоперстая! – закричал он старчески-детским голосом.

И, подбежав, поплевал и сунул ей в руку, – как бы украдкой и надеясь обрадовать, – четыре щепочки, связанные лычком.

Александра Васильевна рассердилась, что он испугал ее, и, оттолкнув его руку, почти побежала от него. А потом долго думала: что это значит – эта Афродита и эти четыре щепочки? И почему они связаны?

Часто в эти апрельские дни она горевала, что Бог лишил ее детей, думала, как бы, если бы у нее был мальчик, назвала она его; не раз переглядывала портреты в венчальной шкатулке.

Странно было видеть девушку в мордовском костюме, с детски-милым взглядом, кокетливо облокотившуюся на какую-то, будто бы крестьянскую изгородь, и крепкого, плечистого семинариста, с густой шевелюрой над большим лбом, с такими мрачными и все-таки лучистыми глазами, с таким упрямым, даже злым выражением стиснутых скул и таким нежным очерком пухлых губ! Был и портрет Селихова. Он снимался с какими-то молодыми чиновниками. Они кружком, в делано-непринужденных позах расположились на креслах, а он – тоже молоденький, щеголеватый – зачем-то сел у их ног на полу.

Раз она встретила возле городского сада Горизонтова и слабо окликнула его. Тот вежливо раскланялся, но не ответил. Она долго с робостью и удивлением смотрела ему вслед.

## Х

На сороковой день никольский причт служил панихиду в селиховском доме. Повис в комнатах густой запах ладана, и велела Александра Васильевна, боясь, что у нее разболится голова от этого запаха, подать самовар под свою любимую яблоню в саду. Был майский день, зеленел сад, кипел расчищенный самовар, белела скатерть, блестела посуда, бодро вел житейскую беседу веселый, с большими ноздрями, никольский священник, здоровый мужчина с широкой тугой поясницей, в широком, вышитом розанами поясе по серебристому подряснику. Отвечая ему, слабо улыбалась и наливала чай Александра Васильевна. Но передвигалась жидкая тень яблони, пекло горячее солнце темя Александры Васильевны, – и вдруг отнялись ее руки, ноги, поплыла красная муть перед глазами... Когда, распахнув все двери, внесли ее в гостиную и положили на диван, она все ползла с него, цеплялась пухлой рукой за золотую бахрому тяжелой старинной скатерти и, захлебываясь, стонала, силясь что-то выговорить. Но отваливалась челюсть, язык не ворочался, и в бессмысленных, бесцветных глазах стояли светлые слезинки...

Однако напрасно качали над ней головами – удар был легкий. Видно, была еще какая-то капля меда в чаше ее жизни, как сказал бы Горизонтов. Еще жаждало старое сердце этой капли, – и Александра Васильевна стала поправляться. Сладко утешаясь возврату жизни, лежа в постели, она застенчиво рассказывала кухарке, что под сороковой день всю светлую майскую ночь кричала она, – чувствовала, что кричит, и никак не могла очнуться, подавленная странным сном: вошли будто в ее спальню два молодых монаха, стали раздевать ее, а она отбивалась, противилась – и так радостно, страшно и стыдно ей было, как никогда в жизни не было. Монахи одолели, раздели ее, положили на пол, и она уже не могла двинуться и все только кричала – от стыда, страха и радости... И когда рассказывала Александра Васильевна, не выходила из ее души нежность к о. Киру. Казалось ей, что с восторгом отдала бы она эту снова обретенную жизнь за одно только свидание с ним – последнее... Нет, не возгласы его, не каждение, не поклоны усопшему врагу страшны были тогда, в соборе! Страшно было глядеть на них на обоих, страшно было вспоминать то счастье, тот страх, ту любовь, что когда-то горячей краской заливали девичье лицо, чувствовать, как доходит до сердца эта далекая, еще не истлевшая любовь – и в одно сливает и того, кого любила она, и того, с кем, нелюбимым – а все-таки когда-то носившим ее зонтик и накидку! – прожила она всю жизнь, кто сказал ей когда-то, прижимая к сердцу ее руку:

– Я желал бы воспользоваться этой ручкой навеки, Александра Васильевна.

## ХІ

Целый месяц она жила затаенной мечтой увидеть о. Кира десятого июня: десятого должен был приехать в Стрелецк один очень важный человек, которому готовили торжественную встречу, для которого на перекрестках сооружали и белили мелом триумфальные арки, чтобы потом увить их гирляндами зелени. С рыжей худой модисткой Александра Васильевна сходила

в магазин «Общая польза» и набрала шерстяной коричневой материи на новое платье. Раз, когда примеряли это платье, донеслось в открытые окна глухое гроыхание бубна, заунывное пение, потом шум, крики. И модистка, и Александра Васильевна, в кофте с одним рукавом, выскочили на крыльцо: по улице бежал народ, а возле калитки о. Кира шумела толпа, и лохматый сапожник бил бубном по голове кричавшего серба, опять появившегося в Стрелецке... И Александра Васильевна горько заплакала: боже мой, как, значит, ослабел о. Кир!

А десятого была страшная жара. В новом платье, в бурнусае, в разноцветных перстнях на пальцах, Александра Васильевна поехала на извозчике к вокзалу. На этом же извозчике и привез ее обратно городской – мертвую: ее задавили, замяли в толпе.

На панихидах никто не плакал, кроме модистки, очень мало знавшей покойную. Опять приехал остроглазый господин, в доме всем распоряжалась его властная жена. Они привезли с собой детей – большеротую бойкую девочку и реалиста, все затевавших возню и беготню по дому. Покойница, под коленкором, лежала на столе в зале, и ее никто не боялся. Завесили зеркала в знак печали. Строго, точно вразумляя неразумную, читала псалтырь рясофорная монахиня, родственница Александры Васильевны, нарочно приехавшая из монастыря, из уезда, – толстая свежая старуха в очках, с большим белым лицом, обрезанным черным головным убором. Но ни печали, ни строгости в доме не было. Не унимались дети, беззаботно залетали мухи и шмели в открытые окна гостиной, за которыми сиял горячий день, в которые лился радостный свет.

После похорон дом пустовал. Всю мебель вынесли из него и увезли на вокзал ломовые. Старухи закидали мокрым осиновым листом и вымыли полы, растворили все двери, и ветер ходил по голым комнатам, которые стали казаться темнее и меньше. Прилепили белые билетики на тонкие старые стекла – и нашелся постоялец, прожившийся дворянин Хитрово, пьяница с висячими усами, в котелке и засаленной визитке с круглыми полами. Перебираясь на новую квартиру, он ехал на извозчике и держал за ошейник черно-атласного гордона. Ломовой вез два стула, кухонный стол и огромный красный шкаф – больше мебели у дворянина не было. Занял дворянин только одну комнату и окна завесил газетами. Против солнца газетные листы скоро порыжели, выгорели.

## ХП

Был июньский вечер, накрапывал дождь. Шел поезд по Стрелецкой железной дороге. В сером темнеющем вагоне второго класса сидели разные господа и говорили – некоторые о том, кто куда едет, некоторые о непорядках на русских железных дорогах и вообще о России, о ее богатствах и некультурности. Вагон грохотал и раскачивался, а жерло вагонного вентилятора прерывисто гудело, и слышно было, как стрекочет в нем мелкий предвечерний дождь.

Открылась впереди широкая пустая низменность, заливные луга, извилистая речка, а за речкой, на скате полей – Стрелецк, железные и тесовые крыши его низких домов, колокольни, темная кладбищенская роща... По мосту поезд пошел тише – мост весь визжал, ныл и скрипел. Речка была мутная, мелкая, город был запылен, казался очень бедным. Ярко заблестели сквозь мелкий дождь ранние огни на станции...

Постояв пятнадцать минут, снова тронулись. Кондуктор зажигал одна об одну короткие свечи. Они пылали ярко, но, попадая в тусклые фонари, сразу меркли. Перезнакомившиеся пассажиры курили, располагались на ночь и оживленно беседовали. Но вот отворилась дверь – и с большим саком в одной руке, с парусиновым зонтом в другой, вошел в вагон Горизонтов, такой большой и неуклюжий, что многие смолкли и уставились на него. Старомодно всем раскланявшись, он сел в уголок на маленький диванчик возле двери.

Больше всех говорил, стоя у поднятой спинки дивана и отстегивая под жилетом подтяжки, щуплый господин в очках, человек, как можно было понять из его слов, москов-

ский, известный Москве и придерживающийся в вопросах общественных мнений крайних. Он выпил на вокзале в Стрелецке. Измятое его лицо было красно и возбужденно. Строго блестя его очки, энергично падали в разные стороны рога сальных волос, энергично и резко лилась речь. Внимательно и удивленно оглядев нового пассажира, он долго притворялся, что не думает о нем, и наконец не вытерпел, спросил:

– А вы далеко изволите ехать?

– А в Москву, – не спеша ответил Горизонтов, держа свои железные руки на зонте, поставленном между колен.

Господин в очках подумал, оглядывая его.

– А жить, вероятно, изволите в том городке, который мы только что проехали?

– Да, я из Стрелецка.

– И в Москву, конечно, по делам?

– По делам, – сказал Горизонтов. – Веду переговоры с анатомическим театром Московского императорского университета. Московский императорский университет, получив от меня мою фотографическую карточку во весь рост и предложение купить после смерти моей мой костяк, ответил мне принципиальным согласием.

– Как? – с изумлением воскликнул господин в очках. – Вы продаете собственный скелет?

– А почему бы и нет? – сказал Горизонтов. – Раз эта сделка увеличивает мое благосостояние и не наносит мне никакого ущерба?

– Но позвольте! – перебил господин в очках. – И вам не странно... да скажу даже – не жутко совершать подобную сделку?

– Ничуть, – ответил Горизонтов. – Надеюсь, что Московскому императорскому университету придется еще не скоро воспользоваться своим приобретением. Надеюсь, судя по тому запасу сил, который есть во мне, прожить никак не менее девяноста пяти лет.

В окне, куда поглядывал он, отвечая, уже отражалась свеча, горевшая в вагонном фонаре, и, отражаясь, как бы висела в воздухе за окном. Проходили мимо косогоры в зеленых хлебах, низко висело над ними облачное небо. Гудело жерло вентилятора, говорили и смеялись в вагоне... А там, в Стрелецке, на его темнеющих улицах, было пусто и тихо. На лавочке возле хибарки сапожника сидел квартировавший у него Желудь, гнутый старичок в кумачной рубашке, и напевал что-то беззаботное. Лежал в своем темном доме уже давно не встающий с постели, седовласый, распухший, с заплывшими глазами о. Кир. Дворянин Хитрово был трезв и осторожно ходил за своим гордоном, с ружьем наперевес, по мокрым овсам возле кладбищенской рощи, выпугивая перепелов и наугад стреляя в сумеречный воздух, в мелкий дождь. Вечным сном спали в кладбищенской роще Александра Васильевна и Селихов – рядом были бугры их могил. А Яша работал в своей часовне над склепом купца Ершова. Отпустив посетителей, весь день плакавших перед ним и целовавших его руки, он зажег восковой огарок и осветил свой засаленный халатик, свою ермолку и заросшее седой щетинкой личико с колючими, хитрыми-прехитрыми глазками. Он работал пристально: стоял возле стены, плевал на нее и затирав плевки сливами, дарами своих поклонниц.

*2 сентября. 1913*



## Господин из Сан-Франциско

Господин из Сан-Франциско – имени его ни в Неаполе, ни на Капри никто не запомнил – ехал в Старый Свет на целых два года, с женой и дочерью, единственно ради развлечения.

Он был твердо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствия, на путешествие во всех отношениях отличное. Для такой уверенности у него был тот довод, что, во-первых, он был богат, а во-вторых, только что приступал к жизни, несмотря на свои пятьдесят восемь лет. До этой поры он не жил, а лишь существовал, правда, очень недурно, но все же возлагая все надежды на будущее. Он работал не покладая рук, – китайцы, которых он выпысывал к себе на работу целыми тысячами, хорошо знали, что это значит! – и наконец увидел, что сделано уже много, что он почти сравнялся с теми, кого некогда взял себе за образец, и решил передохнуть. Люди, к которым принадлежал он, имели обычай начинать наслаждение жизнью с поездки в Европу, в Индию, в Египет. Положил и он поступить так же. Конечно, он хотел вознаградить за годы труда прежде всего себя; однако рад был и за жену с дочерью. Жена его никогда не отличалась особой впечатлительностью, но ведь все пожилые американки страстные путешественницы. А что до дочери, девушки на возрасте и слегка болезненной, то для нее путешествие было прямо необходимо: не говоря уже о пользе для здоровья, разве не бывает в путешествиях счастливых встреч? Тут иной раз сидишь за столом и рассматриваешь фрески рядом с миллиардером.

Маршрут был выработан господином из Сан-Франциско обширный. В декабре и январе он надеялся наслаждаться солнцем Южной Италии, памятниками древности, тарантеллой, серенадами бродячих певцов и тем, что люди в его годы чувствуют особенно тонко, – любовью молоденьких неаполитанок, пусть даже и не совсем бескорыстной; карнавал он думал провести в Ницце, в Монте-Карло, куда в эту пору стекается самое отборное общество, где одни с азартом предаются автомобильным и парусным гонкам, другие рулетке, третьи тому, что принято называть флиртом, а четвертые – стрельбе в голубей, которые очень красиво взвиваются из садков над изумрудным газоном, на фоне моря цвета незабудок, и тотчас же стукаются белыми комочками о землю; начало марта он хотел посвятить Флоренции, к Страстям Господним приехать в Рим, чтобы слушать там «Miserere»<sup>3</sup>; входили в его планы и Венеция, и Париж, и бой быков в Севилье, и купанье на английских островах, и Афины, и Константинополь, и Палестина, и Египет, и даже Япония, – разумеется, уже на обратном пути... И все пошло сперва прекрасно.

Был конец ноября, до самого Гибралтара пришлось плыть то в ледяной мгле, то среди бури с мокрым снегом; но плыли вполне благополучно. Пассажиров было много, пароход – знаменитая «Атлантида» – был похож на громадный отель со всеми удобствами, – с ночным баром, с восточными банями, с собственной газетой, – и жизнь на нем протекала весьма размеренно: вставали рано, при трубных звуках, резко раздававшихся по коридорам еще в тот сумрачный час, когда так медленно и неприветливо светало над серо-зеленой водяной пустыней, тяжело волновавшейся в тумане; накинув фланелевые пижамы, пили кофе, шоколад, какао; затем садились в ванны, делали гимнастику, возбуждая аппетит и хорошее самочувствие, совершали дневные туалеты и шли к первому завтраку; до одиннадцати часов полагалось бодро гулять по палубам, дыша холодной свежестью океана, или играть в шепфльборд и другие игры для нового возбуждения аппетита, а в одиннадцать – подкрепляться бутербродами с бульоном; подкрепившись, с удовольствием читали газету и спокойно ждали второго завтрака, еще более питательного и разнообразного, чем первый; следующие два часа посвящались отдыху; все палубы были заставлены тогда длинными камышовыми креслами, на которых путешествен-

---

<sup>3</sup> «Смилуйся» (лат.) – католическая молитва.

ники лежали, укрывшись пледами, глядя на облачное небо и на пенистые бугры, мелькавшие за бортом, или сладко задремывая; в пятом часу их, освеженных и повеселевших, поили крепким душистым чаем с печеньями; в семь повешали трубными сигналами о том, что составляло главнейшую цель всего этого существования, венец его... И тут господин из Сан-Франциско спешил в свою богатую кабину – одеваться.

По вечерам этажи «Атлантиды» зияли во мраке огненными несметными глазами, и великое множество слуг работало в поварских, судомойнях и винных подвалах. Океан, ходивший за стенами, был страшен, но о нем не думали, твердо веря во власть над ним командира, рыжего человека чудовищной величины и грузности, всегда как бы сонного, похожего в своем мундире с широкими золотыми нашивками на огромного идола и очень редко появлявшегося на люди из своих таинственных покоев; на баке поминутно взывала с адской мрачностью и взвизгивала с неистовой злобой сирена, но немногие из обедающих слышали сирену – ее заглушали звуки прекрасного струнного оркестра, изысканно и неустанно игравшего в двухсветной зале, празднично залитой огнями, переполненной декольтированными дамами и мужчинами во фраках и смокингах, стройными лакеями и почтительными метрдотелями, среди которых один, тот, что принимал заказы только на вина, ходил даже с цепью на шее, как лорд-мэр. Смокинг и крахмальное белье очень молодили господина из Сан-Франциско. Сухой, невысокий, неладно скроенный, но крепко сшитый, он сидел в золотисто-жемчужном сиянии этого чертога за бутылкой вина, за бокалами и бокальчиками тончайшего стекла, за кудрявым букетом гиацинтов. Нечто монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными серебряными усами, золотыми пломбами блестели его крупные зубы, старой слоновой костью – крепкая лысая голова. Богато, но по годам была одета его жена, женщина крупная, широкая и спокойная; сложно, но легко и прозрачно, с невинной откровенностью – дочь, высокая, тонкая, с великолепными волосами, прелестно убранными, с ароматическим от фиалковых лепешечек дыханием и с нежнейшими розовыми прыщиками возле губ и между лопаток, чуть припудренных... Обед длился больше часа, а после обеда открывались в бальной зале танцы, во время которых мужчины, – в том числе, конечно, и господин из Сан-Франциско, – задрав ноги, до малиновой красноты лиц накуривались гаванскими сигарами и напивались ликерами в баре, где служили негры в красных камзолах, с белками, похожими на облупленные крутые яйца. Океан с гулом ходил за стеной черными горами, выюга крепко свистала в отяжелевших снастях, пароход весь дрожал, одолевая и ее, и эти горы, – точно плугом разваливая на стороны их зыбкие, то и дело вскипавшие и высоко взвивавшиеся пенистыми хвостами громады, – в смертной тоске стенала удушьяемая туманом сирена, мерзли от стужи и шалели от непосильного напряжения внимания вахтенные на своей вышке, мрачным и знойным недрам преисподней, ее последнему, девятому кругу была подобна подводная утроба парохода, – та, где глухо гоготали исполинские топки, пожиравшие своими раскаленными зевами груды каменного угля, с грохотом ввергаемого в них облитыми едким, грязным потом и по пояс голыми людьми, багровыми от пламени; а тут, в баре, беззаботно закидывали ноги на ручки кресел, цедили коньяк и ликеры, плавали в волнах пряного дыма, в танцевальной зале все сияло и изливало свет, тепло и радость, пары то крутились в вальсах, то изгибались в танго – и музыка настойчиво, в сладостно-бесстыдной печали молила все об одном, все о том же... Был среди этой блестящей толпы некий великий богач, бритый, длинный, в старомодном фраке, был знаменитый испанский писатель, была все-светная красавица, была изящная влюбленная пара, за которой все с любопытством следили и которая не скрывала своего счастья: он танцевал только с ней, и все выходило у них так тонко, очаровательно, что только один командир знал, что эта пара нанята Ллойдом играть в любовь за хорошие деньги и уже давно плавает то на одном, то на другом корабле.

В Гибралтаре всех обрадовало солнце, было похоже на раннюю весну; на борту «Атлантиды» появился новый пассажир, возбудивший к себе общий интерес, – наследный принц одного азиатского государства, путешествующий инкогнито, человек маленький, весь деревян-

ный, широколицый, узкоглазый, в золотых очках, слегка неприятный – тем, что крупные усы сквозили у него как у мертвого, в общем же, милый, простой и скромный. В Средиземном море шла крупная и цветистая, как хвост павлина, волна, которую, при ярком блеске и совершенно чистом небе, развела весело и бешено летевшая навстречу трамонтана... Потом, на вторые сутки, небо стало бледнеть, горизонт затуманился: близилась земля, показались Иския, Капри, в бинокль уже виден был кусками сахара насыпанный у подножия чего-то сизого Неаполь... Многие леди и джентльмены уже надели легкие, мехом вверх шубки; безответные, всегда шепотом говорящие бои-китайцы, кривоногие подростки со смоляными косами до пят и с девичьими густыми ресницами, исподволь вытаскивали к лестницам пледы, трости, чемоданы, несессеры... Дочь господина из Сан-Франциско стояла на палубе рядом с принцем, вчера вечером, по счастливой случайности, представленным ей, делала вид, что пристально смотрит вдаль, куда он указывал ей, что-то объясняя, что-то торопливо и негромко рассказывая; он по росту казался среди других мальчиком, он был совсем не хорош собой и странен, – очки, котелок, английское пальто, а волосы редких усов точно конские, смуглая тонкая кожа на плоском лице точно натянута и как будто слегка лакирована, – но девушка слушала его и от волнения не понимала, что он ей говорит; сердце ее билось от непонятого восторга перед ним: все, все в нем было не такое, как у прочих, – его сухие руки, его чистая кожа, под которой текла древняя царская кровь; даже его европейская, совсем простая, но как будто особенно опрятная одежда таили в себе неизъяснимое очарование. А сам господин из Сан-Франциско, в серых гетрах на ботинках, все поглядывал на стоявшую возле него знаменитую красавицу, высокую, удивительного сложения блондинку с разрисованными по последней парижской моде глазами, державшую на серебряной цепочке крохотную, гнутую, облезлую собачку и все разговаривавшую с нею. И дочь, в какой-то смутной неловкости, старалась не замечать его.

Он был довольно щедр в пути и потому вполне верил в заботливость всех тех, что кормили и поили его, с утра до вечера служили ему, предупреждая его малейшее желание, охраняли его чистоту и покой, таскали его вещи, звали для него носильщиков, доставляли его сундуки в гостиницы. Так было всюду, так было в плавании, так должно было быть и в Неаполе. Неаполь рос и приближался; музыканты, блестя медью духовых инструментов, уже столпились на палубе и вдруг оглушили всех торжествующими звуками марша, гигант-командир, в парадной форме, появился на своих мостках и, как милостивый языческий бог, приветственно помотал рукой пассажирам. А когда «Атлантида» вошла наконец в гавань, привалила к набережной своей многоэтажной громадой, усеянной людьми, и загрохотали сходни, – сколько портье и их помощников в картузах с золотыми галунами, сколько всяких комиссионеров, свистунов мальчишек и здоровенных оборванцев с пачками цветных открыток в руках кинулось к нему навстречу с предложением услуг! И он ухмылялся этим оборванцам, идя к автомобилю того самого отеля, где мог остановиться и принц, и спокойно говорил сквозь зубы то по-английски, то по-итальянски:

– Go away!<sup>4</sup> Via!<sup>5</sup>

Жизнь в Неаполе тотчас же потекла по заведенному порядку: рано утром – завтрак в сумрачной столовой, – облачное, мало обещающее небо и толпа гидов у дверей вестибюля; потом первые улыбки теплого розоватого солнца, вид с высоко висящего балкона на Везувий, до подножия окутанный сияющими утренними парами, на серебристо-жемчужную рябь залива и тонкий очерк Капри на горизонте, на бегущих внизу, по набережной, крохотных осликов в двуколках и на отряды мелких солдатиков, шагающих куда-то с бодрой и вызывающей музыкой; потом – выход к автомобилю и медленное движение по людным узким и сырым коридорам улиц, среди высоких, многооконных домов, осмотр мертвенно-чистых и ровно, приятно, но

<sup>4</sup> Прочь! (англ.)

<sup>5</sup> Прочь! (ит.)

скучно, точно снегом, освещенных музеев или холодных, пахнущих воском церквей, в которых повсюду одно и то же: величавый вход, закрытый тяжелой кожаной завесой, а внутри – огромная пустота, молчание, тихие огоньки семисвечника, краснеющие в глубине на престоле, убранном кружевами, одинокая старуха среди темных деревянных парт, скользкие гробовые плиты под ногами и чье-нибудь «Снятие со креста», непременно знаменитое; в час – второй завтрак на горе Сан-Мартино, куда съезжается к полудню немало людей самого первого сорта и где однажды дочери господина из Сан-Франциско чуть не сделалось дурно: ей показалось, что в зале сидит принц, хотя она уже знала из газет, что он в Риме; в пять – чай в отеле, в нарядном салоне, где так тепло от ковров и пылающих каминов; а там снова приготовления к обеду – снова мощный, властный гул гонга по всем этажам, снова вереницы шуршащих по лестницам шелками и отражающихся в зеркалах декольтированных дам, снова широко и гостеприимно открытый чертог столовой, и красные куртки музыкантов на эстраде, и черная толпа лакеев возле метрдотеля, с необыкновенным мастерством разливающего по тарелкам густой розовый суп. . . Обеды опять были так обильны и кушаньями, и винами, и минеральными водами, и сладостями, и фруктами, что к одиннадцати часам вечера по всем номерам разносили горничные каучуковые пузыри с горячей водой для согревания желудков.

Однако декабрь выдался не совсем удачный: портье, когда с ними говорили о погоде, только виновато поднимали плечи, бормоча, что такого года они и не запомнят, хотя уже не первый год приходилось им бормотать это и ссылаться на то, что всюду происходит что-то ужасное: на Ривьере небывалые ливни и бури, в Афинах снег, Этна тоже вся занесена и по ночам светит, из Палермо туристы, спасаясь от стужи, разбегаются. . . Утреннее солнце каждый день обманывало: с полудня неизменно серело и начинал сеять дождь, да все гуще и холоднее; тогда пальмы у подъезда отеля блестели жестью, город казался особенно грязным и тесным, музеи чересчур однообразными, сигарные окурки толстяков извозчиков в резиновых, крыльями развевающихся по ветру накидках – нестерпимо вонючими, энергичное хлопанье их бичей над тонкошеими клячами явно фальшивым, обувь синьоров, разметающих трамвайные рельсы, ужасною, а женщины, шлепающие по грязи, под дождем с черными раскрытыми головами, – безобразно коротконогими; про сырость же и вонь гнилой рыбой от пенящегося у набережной моря и говорить нечего. Господин и госпожа из Сан-Франциско стали по утрам ссориться; дочь их то ходила бледная, с головной болью, то оживала, всем восхищалась и была тогда и мила, и прекрасна: прекрасны были те нежные, сложные чувства, что пробудила в ней встреча с некрасивым человеком, в котором текла необычная кровь, ибо ведь в конце концов и не важно, что именно пробуждает девичью душу, – деньги ли, слава ли, знатность ли рода. . . Все уверяли, что совсем не то в Сорренто, на Капри – там и теплей, и солнечней, и лимоны цветут, и нравы честнее, и вино натуральней. И вот семья из Сан-Франциско решила отправиться со всеми своими сундуками на Капри, с тем, чтобы, осмотрев его, походив по камням на месте дворцов Тиверия, побывав в сказочных пещерах Лазурного грота и послушав абруцких волынщиков, целый месяц бродящих перед Рождеством по острову и поющих хвалы Деве Марии, поселиться в Сорренто.

В день отъезда, – очень памятный для семьи из Сан-Франциско! – даже и с утра не было солнца. Тяжелый туман до самого основания скрывал Везувий, низко серел над свинцовой зыбью моря. Острова Капри совсем не было видно – точно его никогда и не существовало на свете. И маленький пароходик, направившийся к нему, так валяло со стороны на сторону, что семья из Сан-Франциско пластом лежала на диванах в жалкой кают-компании этого пароходика, закутав ноги пледами и закрыв от дурноты глаза. Миссис страдала, как она думала, больше всех: ее несколько раз одолевало, ей казалось, что она умирает, а горничная, прибежавшая к ней с тазиком, – уже многие годы изо дня в день качавшаяся на этих волнах и в зной и в стужу и все-таки неутомимая, – только смеялась. Мисс была ужасно бледна и держала в зубах ломтик лимона. Мистер, лежавший на спине, в широком пальто и большом картузе, не разжи-

мал челюстей всю дорогу; лицо его стало темным, усы белыми, голова тяжело болела: последние дни, благодаря дурной погоде, он пил по вечерам слишком много и слишком много любовался «живыми картинами» в некоторых притонах. А дождь сек вдребезжающие стекла, на диваны с них текло, ветер с воем ломил в мачты и порою, вместе с налетавшей волной, клал пароходик совсем набок, и тогда с грохотом катилось что-то вниз. На остановках, в Каstellамаре, в Сорренто, было немного легче; но и тут размахивало страшно, берег со всеми своими обрывами, садами, пиниями, розовыми и белыми отелями и дымными, курчаво-зелеными горами летал за окном вниз и вверх, как на качелях; в стены стукались лодки, сырой ветер дул в двери, и, ни на минуту не смолкая, пронзительно вопил с качавшейся барки под флагом гостиницы «Royal» картавый мальчишка, заманивавший путешественников. И господин из Сан-Франциско, чувствуя себя так, как и подобало ему, – совсем стариком, – уже с тоской и злобой думал обо всех этих жадных, воняющих чесноком людишках, называемых итальянцами; раз во время остановки, открыв глаза и приподнявшись с дивана, он увидел под скалистым отвесом кучу таких жалких, насквозь проплесневевших каменных домишек, наклепленных друг на друга у самой воды, возле лодок, возле каких-то тряпок, жестянок и коричневых сетей, что, вспомнив, что это и есть подлинная Италия, которой он приехал наслаждаться, почувствовал отчаяние... Наконец, уже в сумерках, стал надвигаться своей чернотой остров, точно насквозь просверленный у подножия красными огоньками, ветер стал мягче, теплей, благовонней, по смиряющимся волнам, переливавшимся, как черное масло, потекли золотые удавы от фонарей пристани... Потом вдруг загредел и шлепнулся в воду якорь, наперебой понеслись отовсюду яростные крики лодочников – и сразу стало на душе легче, ярче засияла кают-компания, захотелось есть, пить, курить, двигаться... Через десять минут семья из Сан-Франциско сошла в большую барку, через пятнадцать ступила на камни набережной, а затем села в светлый вагончик и с жужжанием потянулась вверх по откосу, среди кольев на виноградниках, полуразвалившихся каменных оград и мокрых, корявых, прикрытых кое-где соломенными навесами апельсиновых деревьев, с блеском оранжевых плодов и толстой гляцевитой листвы скользивших вниз, под гору, мимо открытых окон вагончика... Сладко пахнет в Италии земля после дождя, и свой, особый запах есть у каждого ее острова!

Остров Капри был сыр и темен в этот вечер. Но тут он на минуту ожил, кое-где осветился. На верху горы, на площадке фуникулера, уже опять стояла толпа тех, на обязанности которых лежало достойно принять господина из Сан-Франциско. Были и другие приезжие, но не заслуживающие внимания, – несколько русских, поселившихся на Капри, неряшливых и рассеянных, в очках, с бородами, с поднятыми воротниками стареньких пальтишек, и компания длинноногих, круглоголовых немецких юношей в тирольских костюмах и с холщовыми сумками за плечами, не нуждающихся ни в чьих услугах и совсем не щедрых на траты. Господин из Сан-Франциско, спокойно сторонившийся и от тех и от других, был сразу замечен. Ему и его дамам торопливо помогли выйти, перед ним побежали вперед, указывая дорогу, его снова окружили мальчишки и те дюжие каприйские бабы, что носят на головах чемоданы и сундуки порядочных туристов. Застучали по маленькой, точно оперной площади, над которой качался от влажного ветра электрический шар, их деревянные ножные скамеечки, по-птичьему засвистала и закувыркалась через голову орава мальчишек – и как по сцене пошел среди них господин из Сан-Франциско к какой-то средневековой арке под слитыми в одно домами, за которой покато вела к сияющему впереди подъезду отеля звонкая улочка с вихром пальмы над плоскими крышами налево и синими звездами на черном небе вверху, впереди. И все было похоже на то, что это в честь гостей из Сан-Франциско ожил каменный сырой городок на скалистом островке в Средиземном море, что это они сделали таким счастливым и радушным хозяина отеля, что только их ждал китайский гонг, завывавший по всем этажам сбор к обеду, едва вступили они в вестибюль.

Вежливо и изысканно поклонившийся хозяин, отменно элегантный молодой человек, встретивший их, на мгновение поразил господина из Сан-Франциско: он вдруг вспомнил, что нынче ночью, среди прочей путаницы, осаждавшей его во сне, он видел именно этого джентльмена, точь-в-точь такого же, как этот, в той же визитке и с той же зеркально причесанной головой. Удивленный, он даже чуть было не приостановился. Но как в душе его уже давным-давно не осталось ни даже горчичного семени каких-либо так называемых мистических чувств, то сейчас же и померкло его удивление: шутя сказал он об этом странном совпадении сна и действительности жене и дочери, проходя по коридору отеля. Дочь, однако, с тревогой взглянула на него в эту минуту: сердце ее вдруг сжала тоска, чувство страшного одиночества на этом чужом, темном острове...

Только что отбыла гостившая на Капри высокая особа – Рейс XVII. И гостям из Сан-Франциско отвели те самые апартаменты, что занимал он. К ним приставили самую красивую и умелую горничную, бельгийку, с тонкой и твердой от корсета талией и в крахмальном чепчике в виде маленькой зубчатой короны, и самого видного из лакеев, угольно-черного, огнеглазого сицилийца, и самого расторопного коридорного, маленького и полного Луиджи, много переменявшего подобных мест на своем веку. А через минуту в дверь комнаты господина из Сан-Франциско легонько стукнул француз-метрдельник, явившийся, чтобы узнать, будут ли господа приезжие обедать, и в случае утвердительного ответа, в котором, впрочем, не было сомнения, доложить, что сегодня лангуст, ростбиф, спаржа, фазаны и так далее. Пол еще ходил под господином из Сан-Франциско, – так закачал его этот дрянной итальянский пароходишко, – но он не спеша, собственноручно, хотя с непривычки и не совсем ловко, закрыл хлопнувшее при входе метрдотеля окно, из которого пахло запахом дальней кухни и мокрых цветов в саду, и с неторопливой отчетливостью ответил, что обедать они будут, что столик для них должен быть поставлен подальше от дверей, в самой глубине залы, что пить они будут вино местное, и каждому его слову метрдотель поддакивал в самых разнообразных интонациях, имевших, однако, только тот смысл, что нет и не может быть сомнения в правоте желаний господина из Сан-Франциско и что все будет исполнено в точности. Напоследок он склонил голову и деликатно спросил:

– Все, сэр?

И, получив в ответ медлительное «yes»<sup>6</sup>, прибавил, что сегодня у них в вестибюле тарантелла – танцуют Кармелла и Джузеппе, известные всей Италии и «всему миру туристов».

– Я видел ее на открытках, – сказал господин из Сан-Франциско ничего не выражающим голосом. – А этот Джузеппе – ее муж?

– Двоюродный брат, сэр, – ответил метрдотель.

И, помедлив, что-то подумав, но ничего не сказав, господин из Сан-Франциско отпустил его кивком головы.

А затем он снова стал точно к венцу готовиться: повсюду зажег электричество, наполнил все зеркала отражением света и блеска, мебели и раскрытых сундуков, стал бриться, мыться и поминутно звонить, в то время как по всему коридору неслись и перебивали его другие нетерпеливые звонки – из комнат его жены и дочери. И Луиджи, в своем красном переднике, с легкостью, свойственной многим толстякам, делая гримасы ужаса, до слез смешивший горничных, пробежавших мимо с кафельными ведрами в руках, кубарем катился на звонок и, стукнув в дверь костяшками, с притворной робостью, с доведенной до идиотизма почтительностью спрашивал:

– На sonato, signore?<sup>7</sup>

И из-за двери слышался неспешный и скрипучий, обидно вежливый голос:

<sup>6</sup> Да (англ.).

<sup>7</sup> Вы звонили, синьор? (ит.)

– Yes, come in...<sup>8</sup>

Что чувствовал, что думал господин из Сан-Франциско в этот столь знаменательный для него вечер? Он, как всякий испытывший качку, только очень хотел есть, с наслаждением мечтал о первой ложке супа, о первом глотке вина и совершал привычное дело туалета даже в некотором возбуждении, не оставлявшем времени для чувств и размышлений.

Побрившись, вымывшись, ладно вставив несколько зубов, он, стоя перед зеркалами, смочил и прибрал щетками в серебряной оправе остатки жемчужных волос вокруг смугло-желтого черепа, натянул на крепкое старческое тело с полнеющей от усиленного питания талией кремовое шелковое трико, а на сухие ноги с плоскими ступнями – черные шелковые носки и бальные туфли, приседая, привел в порядок высоко подтянутые шелковыми помочами черные брюки и белоснежную, с выпятившейся грудью рубашку, вправил в блестящие манжеты запонки и стал мучиться с ловлей под твердым воротничком запонки шейной. Пол еще качался под ним, кончикам пальцев было очень больно, запонка порой крепко кусала дряблую кожицу в углублении под кадыком, но он был настойчив и наконец, с сияющими от напряжения глазами, весь сизый от сдавившего ему горло, не в меру тугого воротничка, таки доделал дело – и в изнеможении присел перед трюмо, весь отражаясь в нем и повторяясь в других зеркалах.

– О, это ужасно! – пробормотал он, опуская крепкую лысую голову и не стараясь понять, не думая, что именно ужасно; потом привычно и внимательно оглядел свои короткие, с подагрическими затвердениями в суставах пальцы, их крупные и выпуклые ногти миндального цвета и повторил с убеждением: – Это ужасно...

Но тут зычно, точно в языческом храме, загудел по всему дому второй гонг. И, поспешно встав с места, господин из Сан-Франциско еще больше стянул воротничок галстуком, а живот открытым жилетом, надел смокинг, выправил манжеты, еще раз оглядел себя в зеркале... Эта Кармелла, смуглая, с наигранными глазами, похожая на мулатку, в цветистом наряде, где преобладает оранжевый цвет, пляшет, должно быть, необыкновенно, подумал он. И, бодро выйдя из своей комнаты и подойдя по ковру к соседней, жениной, громко спросил: скоро ли они?

– Через пять минут! – звонко и уже весело отозвался из-за двери девичий голос.

– Отлично, – сказал господин из Сан-Франциско.

И не спеша пошел по коридорам и по лестницам, устланным красными коврами, вниз, отыскивая читальню. Встречные слуги жались от него к стене, а он шел, как бы не замечая их. Запоздавшая к обеду старуха, уже сутулая, с молочными волосами, но декольтированная, в светло-сером шелковом платье, поспешила впереди него изо всех сил, но смешно, по-куриному, и он легко обогнал ее. Возле стеклянных дверей столовой, где уже все были в сборе и начали есть, он остановился перед столиком, загроможденным коробками сигар и египетских папирос, взял большую маниллу и кинул на столик три лиры; на зимней веранде мимоходом глянул в открытое окно: из темноты повеяло на него нежным воздухом, померещилась верхушка старой пальмы, раскинувшая по звездам свои вайи, казавшиеся гигантскими, донесся отдаленный ровный шум моря... В читальне, уютной, тихой и светлой только над столами, стоя шуршал газетами какой-то седой немец, похожий на Ибсена, в серебряных круглых очках и с сумасшедшими, изумленными глазами. Холодно осмотрев его, господин из Сан-Франциско сел в глубокое кожаное кресло в углу, возле лампы под зеленым колпаком, надел пенсне и, дернув головой от душившего его воротничка, весь закрылся газетным листом. Он быстро пробежал заглавия некоторых статей, прочел несколько строк о никогда не прекращающейся балканской войне, привычным жестом перевернул газету, – как вдруг строчки вспыхнули перед ним стеклянным блеском, шея его напружинилась, глаза выпучились, пенсне слетело с носа... Он рванулся вперед, хотел глотнуть воздуха – и дико захрипел; нижняя челюсть его отпала, осветив весь рот золотом пломб, голова завалилась на плечо и замоталась, грудь рубашки выпятилась

---

<sup>8</sup> Да, входите... (англ.)

коробом – и все тело, извиваясь, задирая ковер каблуками, поползло на пол, отчаянно борясь с кем-то.

Не будь в читальне немца, быстро и ловко сумели бы в гостинице замять это ужасное происшествие, мгновенно, задними ходами, умчали бы за ноги и за голову господина из Сан-Франциско куда подальше – и ни единая душа из гостей не узнала бы, что натворил он. Но немец вырвался из читальни с криком, он всполошил весь дом, всю столовую. И многие вскакивали из-за еды, многие, бледнея, бежали к читальне, на всех языках раздавалось: «Что, что случилось?» – и никто не отвечал толком, никто не понимал ничего, так как люди и до сих пор еще больше всего дивятся и ни за что не хотят верить смерти. Хозяин метался от одного гостя к другому, пытаясь задержать бегущих и успокоить их поспешными заверениями, что это так, пустяк, маленький обморок с одним господином из Сан-Франциско... Но никто его не слушал, многие видели, как лакеи и коридорные срывали с этого господина галстук, жилет, измятый смокинг и даже зачем-то балльные башмаки с черных шелковых ног с плоскими ступнями. А он еще бился. Он настойчиво боролся со смертью, ни за что не хотел поддаться ей, так неожиданно и грубо навалившейся на него. Он мотал головой, хрипел, как зарезанный, закатил глаза, как пьяный... Когда его торопливо внесли и положили на кровать в сорок третий номер, – самый маленький, самый плохой, самый сырой и холодный, в конце нижнего коридора, – прибежала его дочь, с распущенными волосами, с обнаженной грудью, поднятой корсетом, потом большая и уже совсем наряженная к обеду жена, у которой рот был круглый от ужаса... Но тут он уже и головой перестал мотать.

Через четверть часа в отеле все кое-как пришло в порядок. Но вечер был непоправимо испорчен. Некоторые, возвратясь в столовую, дообедали, но молча, с обиженными лицами, меж тем как хозяин подходил то к тому, то к другому, в бессильном и приличном раздражении пожимая плечами, чувствуя себя без вины виноватым, всех уверяя, что он отлично понимает, «как это неприятно», и давая слово, что он примет «все зависящие от него меры» к устранению неприятности; тарантеллу пришлось отменить, лишнее электричество потушили, большинство гостей ушло в город, в пивную, и стало так тихо, что четко слышался стук часов в вестибюле, где только один попугай деревянно бормотал что-то, возясь перед сном в своей клетке, ухитряясь заснуть с нелепо задранной на верхний шесток лапой... Господин из Сан-Франциско лежал на дешевой железной кровати, под грубыми шерстяными одеялами, на которые с потолка тускло светил один рожок. Пузырь со льдом свисал на его мокрый и холодный лоб. Сизое, уже мертвое лицо постепенно стыло, хриплое клокотанье, вырывавшееся из открытого рта, освещенного отблеском золота, слабело. Это хрипел уже не господин из Сан-Франциско, – его больше не было, – а кто-то другой. Жена, дочь, доктор, прислуга стояли и глядели на него. Вдруг то, чего они ждали и боялись, совершилось – хрип оборвался. И медленно, медленно, на глазах у всех, потекла бледность по лицу умершего, и черты его стали утончаться, светлеть...

Вошел хозяин. «Già é morto»<sup>9</sup>, – сказал ему шепотом доктор. Хозяин с бесстрастным лицом пожал плечами. Миссис, у которой тихо катились по щекам слезы, подошла к нему и робко сказала, что теперь надо перенести покойного в его комнату.

– О нет, мадам, – поспешно, корректно, но уже без всякой любезности и не по-английски, а по-французски возразил хозяин, которому совсем не интересны были те пустяки, что могли оставить теперь в его кассе приехавшие из Сан-Франциско. – Это совершенно невозможно, мадам, – сказал он и прибавил в пояснение, что он очень ценит эти апартаменты, что если бы он исполнил ее желание, то всему Капри стало бы известно об этом и туристы начали бы избегать их.

Мисс, все время странно смотревшая на него, села на стул и, зажав рот платком, зарыдала. У миссис слезы сразу высохли, лицо вспыхнуло. Она подняла тон, стала требовать, говоря

<sup>9</sup> Уже умер (ит.).



на своем языке и все еще не веря, что уважение к ним окончательно потеряно. Хозяин с вежливым достоинством осадил ее: если мадам не нравятся порядки отеля, он не смеет ее задерживать; и твердо заявил, что тело должно быть вывезено сегодня же на рассвете, что полиции уже дано знать, что представитель ее сейчас явится и исполнит необходимые формальности... Можно ли достать на Капри хотя бы простой готовый гроб, спрашивает мадам? К сожалению, нет, ни в каком случае, а сделать никто не успеет. Придется поступить как-нибудь иначе... Содовую английскую воду, например, он получает в больших и длинных ящиках... перегордки из такого ящика можно вынуть...

Ночью весь отель спал. Открыли окно в сорок третьем номере, – оно выходило в угол сада, где под высокой каменной стеной, утыканной по гребню битым стеклом, рос чахлый банан, – потушили электричество, заперли дверь на ключ и ушли. Мертвый остался в темноте, синие звезды глядели на него с неба, сверчок с грустной беззаботностью запел на стене... В тускло освещенном коридоре сидели на подоконнике две горничные, что-то штопали. Вошел Луиджи с кучей платья на руке, в туфлях.

– Pronto? (Готово?) – озабоченно спросил он звонким шепотом, указывая глазами на страшную дверь в конце коридора. И легонько помотал свободной рукой в ту сторону. – Partenza!<sup>10</sup> – шепотом крикнул он, как бы провожая поезд, то, что обычно кричат в Италии на станциях при отправлении поездов, – и горничные, давась беззвучным смехом, упали головами на плечи друг другу.

Потом он, мягко подпрыгивая, подбежал к самой двери, чуть стукнул в нее и, склонив голову набок, вполголоса почтительнейше спросил:

– На sonato, signore?

И, сдавив горло, выдвинув нижнюю челюсть, скрипуче, медлительно и печально ответил сам себе, как бы из-за двери:

– Yes, come in...

А на рассвете, когда побелело за окном сорок третьего номера и влажный ветер зашуршал рваной листвой банана, когда поднялось и раскинулось над островом Капри голубое утреннее небо и озолотилась против солнца, восходящего за далекими синими горами Италии, чистая и четкая вершина Монте-Соляро, когда пошли на работу каменщики, поправлявшие на острове тропинки для туристов, – принесли к сорок третьему номеру длинный ящик из-под содовой воды. Вскоре он стал очень тяжел – и крепко давил колени младшего портье, который шибко повез его на одноконном извозчике по белому шоссе, взад и вперед извивавшемуся по склонам Капри, среди каменных оград и виноградников, все вниз и вниз, до самого моря. Извозчик, кволый человек с красными глазами, в старом пиджачке с короткими рукавами и в сбитых башмаках, был с похмелья – целую ночь играл в кости в траттории, – и все хлестал свою крепкую лошадку, по-сицилийски разряженную, спешно громыхающую всяческими бубенцами на уздечке в цветных шерстяных помпонах и на остриях высокой медной седёлки с аршинным, трясущимся на бегу птичьим пером, торчащим из подстриженной челки. Извозчик молчал, был подавлен своей беспутностью, своими пороками, – тем, что он до последнего гроша проигрался ночью. Но утро было свежее, на таком воздухе, среди моря, под утренним небом, хмель скоро улечувивается и скоро возвращается беззаботность к человеку, да утешал извозчика и тот неожиданный заработок, что дал ему какой-то господин из Сан-Франциско, мотавший своей мертвой головой в ящике за его спиною... Пароходик, жуком лежавший далеко внизу, на нежной и яркой синеве, которой так густо и полно налит Неаполитанский залив, уже давал последние гудки – и они бодро отзывались по всему острову, каждый изгиб которого, каждый гребень, каждый камень был так явственно виден отовсюду, точно воздуха совсем не было. Возле пристани младшего портье догнал старший, мчавший в автомобиле мисс

<sup>10</sup> Отправление! (ит.)

и миссис, бледных, с провалившимися от слез и бессонной ночи глазами. И через десять минут парходик снова зашумел водой и снова побежал к Сорренто, к Каstellамаре, навсегда увозя от Капри семью из Сан-Франциско... И на острове снова водворились мир и покой.

На этом острове две тысячи лет тому назад жил человек, несказанно мерзкий в удовлетворении своей похоти и почему-то имевший власть над миллионами людей, наделавший над ними жестокостей сверх всякой меры, и человечество навеки запомнило его, и многие, многие со всего света съезжаются смотреть на остатки того каменного дома, где жил он на одном из самых крутых подъемов острова. В это чудесное утро все, приехавшие на Капри именно с этой целью, еще спали по гостиницам, хотя к подъездам гостиниц уже вели маленьких мыша-стых осликов под красными седлами, на которые опять должны были нынче, проснувшись и наевшись, взгромоздиться молодые и старые американцы и американки, немцы и немки и за которыми опять должны были бежать по каменистым тропинкам, и все в гору, вплоть до самой вершины Монте-Тиберио, нищие каприйские старухи с палками в жилистых руках, дабы подгонять этими палками осликов. Успокоенные тем, что мертвого старика из Сан-Франциско, тоже собиравшегося ехать с ними, но вместо того только напугавшего их напоминанием о смерти, уже отправили в Неаполь, путешественники спали крепким сном, и на острове было еще тихо, магазины в городе были еще закрыты. Торговал только рынок на маленькой площади – рыбой и зеленью, и были на нем одни простые люди, среди которых, как всегда, без всякого дела, стоял Лоренцо, высокий старик лодочник, беззаботный гуляка и красавец, знаменитый по всей Италии, не раз служивший моделью многим живописцам: он принес и уже продал за бесценок двух пойманных им ночью омаров, шуршавших в переднике повара того самого отеля, где ночевала семья из Сан-Франциско, и теперь мог спокойно стоять хоть до вечера, с царственной повадкой поглядывая вокруг, рисуясь своими лохмотьями, глиняной трубкой и красным шерстяным беретом, спущенным на одно ухо. А по обрывам Монте-Соляро, по древней финикийской дороге, вырубленной в скалах, по ее каменным ступенькам, спускались от Анакапри два абруцких горца. У одного под кожаным плащом была волынка, – большой козий мех с двумя дудками, у другого – нечто вроде деревянной цевницы. Шли они – и целая страна, радостная, прекрасная, солнечная, простиралась под ними: и каменистые горбы острова, который почти весь лежал у их ног, и та сказочная синева, в которой плавал он, и сияющие утренние пары над морем к востоку, под ослепительным солнцем, которое уже жарко грело, поднимаясь все выше и выше, и туманно-лазурные, еще по-утреннему зыбкие массивы Италии, ее близких и далеких гор, красоту которых бессильно выразить человеческое слово. На полпути они замедлили шаг: над дорогой, в гроте скалистой стены Монте-Соляро, вся озаренная солнцем, вся в тепле и блеске его, стояла в белоснежных гипсовых одеждах и в царском венце, золотисто-ржавом от непогод, Мать Божия, кроткая и милостивая, с очами, поднятыми к небу, к вечным и блаженным обителям трижды благословенного сына ее. Они обнажили головы – и полились наивные и смиренно-радостные хвалы их солнцу, утру, ей, непорочной заступнице всех страждущих в этом злом и прекрасном мире, и рожденному от чрева ее в пещере Вифлеемской, в бедном пастушеском приюте, в далекой земле Иудиней...

Тело же мертвого старика из Сан-Франциско возвращалось домой, в могилу, на берега Нового Света. Испытав много унижений, много человеческого невнимания, с неделю странствуя из одного портового сарая в другой, оно снова попало наконец на тот же самый знаменитый корабль, на котором так еще недавно, с таким почетом везли его в Старый Свет. Но теперь уже скрывали его от живых – глубоко спустили в просмоленном гробе в черный трюм. И опять, опять пошел корабль в свой далекий морской путь. Ночью плыл он мимо острова Капри, и печальны были его огни, медленно скрывавшиеся в темном море, для того, кто смотрел на них с острова. Но там, на корабле, в светлых, сияющих люстрами залах, был, как обычно, людный бал в эту ночь.

Был он и на другую, и на третью ночь – опять среди бешеной вьюги, проносившейся над гудевшим, как погребальная месса, и ходившим траурными от серебряной пены горами океаном. Бесчисленные огненные глаза корабля были за снегом едва видны Дьяволу, следившему со скал Гибралтара, с каменистых ворот двух миров, за уходившим в ночь и вьюгу кораблем. Дьявол был громаден, как утес, но громаден был и корабль, многоярусный, многотрубный, созданный гордыней Нового Человека со старым сердцем. Вьюга билась в его снасти и широкогорлые трубы, побелевшие от снега, но он был стоек, тверд, величав и страшен. На самой верхней крыше его одиноко высились среди снежных вихрей те уютные, слабо освещенные покои, где, погруженный в чуткую и тревожную дремоту, надо всем кораблем восседал его грузный водитель, похожий на языческого идола. Он слышал тяжкие завывания и яростные взвизгивания сирены, удушаемой бурей, но успокаивал себя близостью того, в конечном итоге для него самого непонятного, что было за его стеною: той как бы бронированной каюты, что то и дело наполнялась таинственным гулом, трепетом и сухим треском синих огней, вспыхивавших и разрывавшихся вокруг бледнолицего телеграфиста с металлическим полуобручем на голове. В самом низу, в подводной утробе «Атлантиды», тускло блистали сталью, сипели паром и сочились кипятком и маслом тысячепудовые громады котлов и всяческих других машин, той кухни, раскаляемой исподу адскими топками, в которой варилось движение корабля, – клокотали страшные в своей сосредоточенности силы, передававшиеся в самый киль его, в бесконечно длинное подземелье, в круглый туннель, слабо озаренный электричеством, где медленно, с подавляющей человеческую душу неукоснительностью, вращался в своем маслянистом ложе исполинский вал, точно живое чудовище, протянувшееся в этом туннеле, похожем на жерло. А середина «Атлантиды», столовые и бальные залы ее изливали свет и радость, гудели говором нарядной толпы, благоухали свежими цветами, пели струнным оркестром. И опять мучительно извивалась и порою судорожно сталкивалась среди этой толпы, среди блеска огней, шелков, бриллиантов и обнаженных женских плеч, тонкая и гибкая пара нанятых влюбленных: грешно-скромная девушка с опущенными ресницами, с невинной прической, и рослый молодой человек с черными, как бы приклеенными волосами, бледный от пудры, в изящнейшей лакированной обуви, в узком, с длинными фалдами, фраке – красавец, похожий на огромную пиявку. И никто не знал ни того, что уже давно наскучило этой паре притворно мучиться своей блаженной мукой под бесстыдно-грустную музыку, ни того, что стоит глубоко, глубоко под ними, на дне темного трюма, в соседстве с мрачными и знойными недрами корабля, тяжело одолевавшего мрак, океан, вьюгу...

*Октябрь. 1915*

## Грамматика любви

Некто Ивлев ехал однажды в начале июня в дальний край своего уезда.

Тарантас с кривым пыльным верхом дал ему шурин, в имении которого он проводил лето. Тройку лошадей, мелких, но справных, с густыми сбитыми гривами, нанял он на деревне, у богатого мужика. Правил ими сын этого мужика, малый лет восемнадцати, тупой, хозяйственный. Он все о чем-то недовольно думал, был как будто чем-то обижен, не понимал шуток. И, убедившись, что с ним не разговоришься, Ивлев отдался той спокойной и бесцельной наблюдательности, которая так идет к ладу копыт и грому ханению бубенчиков.

Ехать сначала было приятно: теплый, тусклый день, хорошо накатанная дорога, в полях множество цветов и жаворонков; с хлебов, с невысоких сизых ржей, простиравшихся насколько глаз хватит, дул сладкий ветерок, нес по их косякам цветочную пыль, местами дымил ею, и вдали от нее было даже туманно. Малый, в новом картузе и неуклюжем люстриновом пиджаке, сидел прямо; то, что лошади были всецело вверены ему и что он был наряжен, делало его особенно серьезным. А лошади кашляли и не спеша бежали, валек левой пристяжки порою скреб по колесу, порою натягивался, и все время мелькала под ним белой сталью стертая подкова.

– К графу будем заезжать? – спросил малый, не оборачиваясь, когда впереди показалась деревня, замыкавшая горизонт своими лозинами и садом.

– А зачем? – сказал Ивлев.

Малый помолчал и, сбив кнутом прилипшего к лошади крупного овода, сумрачно ответил:

– Да чай пить...

– Не чай у тебя в голове, – сказал Ивлев. – Все лошадей жалеешь.

– Лошадь езды не боится, она корму боится, – ответил малый наставительно.

Ивлев поглядел кругом: погода поскучнела, со всех сторон натянуло линючих туч, и уже накрапывало – эти скромные деньки всегда оканчиваются окладными дождями... Старик, пахавший возле деревни, сказал, что дома одна молодая графиня, но все-таки заехали. Малый натянул на плечи армяк и, довольный тем, что лошади отдыхают, спокойно мок под дождем на козлах тарантаса, остановившегося среди грязного двора, возле каменного корыта, вросшего в землю, истыканную копытами скота. Он оглядывал свои сапоги, поправлял кнутовищем шлею на кореннике; а Ивлев сидел в темнеющей от дождя гостиной, болтал с графией и ждал чая; уже пахло горящей лучиной, густо плыл мимо открытых окон зеленый дым самовара, который босая девка набивала на крыльце пучками ярко пылающих кумачным огнем щепок, обливая их керосином. Графиня была в широком розовом капоре, с открытой напудренной грудью; она курила, глубоко затягиваясь, часто поправляла волосы, до плечей обнажая свои тугие и круглые руки; затягиваясь и смеясь, она все сводила разговор на любовь и между прочим рассказывала про своего близкого соседа, помещика Хвоцинского, который, как знал Ивлев еще с детства, всю жизнь был помешан на любви к своей горничной Лушке, умершей в ранней молодости. «Ах, эта легендарная Лушка! – заметил Ивлев шутливо, слегка сконфузясь своего признания. – Оттого, что этот чудак обоготворил ее, всю жизнь посвятил сумасшедшим мечтам о ней, я в молодости был почти влюблен в нее, воображал, думая о ней бог знает что, хотя она, говорят, совсем нехороша была собой». – «Да? – сказала графиня, не слушая. – Он умер нынешней зимой. И Писарев, единственный, кого он иногда допускал к себе по старой дружбе, утверждает, что во всем остальном он несколько не был помешан, и я вполне верю этому – просто он был не теперешним чета...» Наконец босая девка с необыкновенной осторожностью подала на старом серебряном подносе стакан крепкого сивого чая из прудовки и корзиночку с печеньем, засиженным мухами.

Когда поехали дальше, дождь разошелся уже по-настоящему. Пришлось поднять верх, закрыться каляным, ссохшимся фартуком, сидеть согнувшись. Громыхали глухарями лошади, по их темным и блестящим ляжкам бежали струйки, под колесами шуршали травы какого-то рубежа среди хлебов, где малый поехал в надежде сократить путь, под верхом собирался теплый ржаной дух, мешавшийся с запахом старого тарантаса... «Так вот оно что, Хвощинский умер, – думал Ивлев. – Надо непременно заехать, хоть взглянуть на это опустевшее святилище таинственной Лушки... Но что за человек был этот Хвощинский? Сумасшедший или просто какая-то ошеломленная, вся на одном сосредоточенная душа?» По рассказам стариков-помещиков, сверстников Хвощинского, он когда-то слыл в уезде за редкого умницу. И вдруг свалилась на него эта любовь, эта Лушка, потом неожиданная смерть ее, – и все пошло прахом: он затворился в доме, в той комнате, где жила и умерла Лушка, и больше двадцати лет просидел на ее кровати – не только никуда не выезжал, а даже у себя в усадьбе не показывался никому, насквозь просидел матрац на Лушкиной кровати и Лушкиному влиянию приписывал буквально все, что совершалось в мире: гроза заходит – это Лушка насылает грому, объявлена война – значит, так Лушка решила, неурожай случился – не угодили мужики Лушке...

– Ты на Хвощинское, что ли, едешь? – крикнул Ивлев, высовываясь под дождь.

– На Хвощинское, – невнятно отозвался сквозь шум дождя малый, с обвисшего картуза которого текла вода. – На Писарев верх...

Такого пути Ивлев не знал. Места становились все беднее и глуше. Кончился рубеж, лошади пошли шагом и спустили покосившийся тарантас размытой колдобиной под горку; в какие-то еще не кошенные луга, зеленые скаты которых грустно выделялись на низких тучах. Потом дорога, то пропадая, то возобновляясь, стала переходить с одного бока на другой по днищам оврагов, по буеракам в ольховых кустах и верболозах... Была чья-то маленькая пасека, несколько колодок, стоявших на скате в высокой траве, краснеющей земляникой... Объехали какую-то старую плотину, потонувшую в крапиве, и давно высохший пруд – глубокую яругу, заросшую бурьяном выше человеческого роста... Пара черных куличков с плачем метнулась из них в дождливое небо... А на плотине, среди крапивы, мелкими бледно-розовыми цветочками цвел большой старый куст, то милое деревце, которое зовут «божьем деревом», – и вдруг Ивлев вспомнил места, вспомнил, что не раз ездил тут в молодости верхом...

– Говорят, она тут утопилась-то, – неожиданно сказал малый.

– Ты про любовницу Хвощинского, что ли? – спросил Ивлев. – Это неправда, она и не думала топиться.

– Нет, утопилась, – сказал малый. – Ну, только думается, он скорей всего от бедности от своей сошел с ума, а не от ней...

И, помолчав, грубо прибавил:

– А нам опять надо заезжать... в это, в Хвощино-то... Ишь как лошади-то уморились!

– Сделай милость, – сказал Ивлев.

На бугре, куда вела оловянная от дождевой воды дорога, на месте сведенного леса, среди мокрой, гниющей щепы и листвы, среди пней и молодой осиновой поросли, горько и свежо пахнувшей, одиноко стояла изба. Ни души не было кругом, – только овсянки, сидя под дождем на высоких цветах, звенели на весь редкий лес, поднимавшийся за избою, но, когда тройка, шлепая по грязи, поравнялась с ее порогом, откуда-то вырвалась целая орава громадных собак, черных, шоколадных, дымчатых, и с яростным лаем закипела вокруг лошадей, взвываясь к самым их мордам, на лету перевертываясь и прядая даже под верх тарантаса. В то же время и столь же неожиданно небо над тарантасом раскололось от оглушительного удара грома, малый с остервенением кинулся драть собак кнутом, и лошади вскачь понесли среди замелькавших перед глазами осиновых стволов...

За лесом уже видно было Хвощинское. Собаки отстали и сразу смолкли, деловито побежали назад, лес расступился, и впереди опять открылись поля. Вечерело, и тучи не то расхо-

дились, не то заходили теперь с трех сторон: слева – почти черная, с голубыми просветами, справа – седая, грохочущая непрерывным громом, а с запада, из-за хвощинской усадьбы, из-за косогоров над речной долиной, – мутно-синяя, в пыльных полосах дождя, сквозь которые розовели горы дальних облаков. Но над тарантасом дождь редел, и, приподнявшись, Ивлев, весь закиданный грязью, с удовольствием завалил назад отяжелевший верх и свободно вздохнул пахучей сыростью поля.

Он глядел на приближающуюся усадьбу, видел наконец то, о чем слышал так много, но по-прежнему казалось, что жила и умерла Лушка не двадцать лет тому назад, а чуть ли не во времена незапамятные. По долине терялся в куге след мелкой речки, над ней летала белая рыбалка. Дальше, на полугоре, лежали ряды сена, потемневшие от дождя; среди них, далеко друг от друга, раскидывались старые серебристые тополи. Дом, довольно большой, когда-то беленый, с блестящей мокрой крышей, стоял на совершенно голом месте. Не было кругом ни сада, ни построек, только два кирпичных столба на месте ворот да лопухи по канавам. Когда лошади вброд перешли речку и поднялись на гору, какая-то женщина в летнем мужском пальто, с обвисшими карманами, гнала по лопухам индюшек. Фасад дома был необыкновенно скучен: окон в нем было мало, и все они были невелики, сидели в толстых стенах. Зато огромны были мрачные крыльца. С одного из них удивленно глядел на подъезжающих молодой человек в серой гимназической блузе, подпоясанный широким ремнем, черный, с красивыми глазами и очень миловидный, хотя лицо его было бледно и от веснушек пестро, как птичье яйцо.

Нужно было чем-нибудь объяснить свой заезд. Поднявшись на крыльцо и назвав себя, Ивлев сказал, что хочет посмотреть и, может быть, купить библиотеку, которая, как говорила графиня, осталась от покойного, и молодой человек, густо покраснев, тотчас повел его в дом. «Так вот это и есть сын знаменитой Лушки!» – подумал Ивлев, окидывая глазами все, что было на пути, и часто оглядываясь и говоря что попало, лишь бы лишний раз взглянуть на хозяйку, который казался слишком моложав для своих лет. Тот отвечал поспешно, но односложно, путался, видимо, и от застенчивости, и от жадности; что он страшно обрадовался возможности продать книги и вообразил, что сбудет их недешево, сказалось в первых же его словах, в той неловкой торопливости, с которой он заявил, что таких книг, как у него, ни за какие деньги нельзя достать. Через полутемные сени, где была настлана красная от сырости солома, он ввел Ивлева в большую переднюю.

– Тут вот и жил ваш батюшка? – спросил Ивлев, входя и снимая шляпу.

– Да, да, тут, – поспешил ответить молодой человек. – То есть, конечно, не тут... они ведь больше всего в спальне сидели... но, конечно, и тут бывали...

– Да, я знаю, он ведь был болен, – сказал Ивлев.

Молодой человек вспыхнул.

– То есть чем болен? – сказал он, и в голосе его послышались более мужественные ноты. – Это все сплетни, они умственно нисколько не были больны... Они только все читали и никуда не выходили, вот и все... Да нет, вы, пожалуйста, не снимайте картуз, тут холодно, мы ведь не живем в этой половине...

Правда, в доме было гораздо холоднее, чем на воздухе. В неприветливой передней, оклеенной газетами, на подоконнике печального от туч окна стояла лубяная перепелиная клетка. По полу сам собою прыгал серый мешочек. Наклонившись, молодой человек поймал его и положил на лавку, и Ивлев понял, что в мешочке сидит перепел; затем вошли в зал. Эта комната, окнами на запад и север, занимала чуть ли не половину всего дома. В одно окно, на золоте расчищающейся за тучами зари, видна была столетняя, вся черная плакучая береза. Передний угол весь был занят божницей без стекол, уставленной и увешанной образами; среди них выделялся и величиной и древностью образ в серебряной ризе, и на нем, желтея воском, как мертвым телом, лежали венчальные свечи в бледно-зеленых бантах.

– Простите, пожалуйста, – начал было Ивлев, превозмогая стыд, – разве ваш батюшка...

– Нет, это так, – пробормотал молодой человек, мгновенно поняв его. – Они уже после ее смерти купили эти свечи... и даже обручальное кольцо всегда носили...

Мебель в зале была топорная. Зато в простенках стояли прекрасные горки, полные чайной посудой и узкими, высокими бокалами в золотых ободках. А пол весь был устлан сухими пчелами, которые щелкали под ногами. Пчелами была усыпана и гостиная, совершенно пустая. Пройдя ее и еще какую-то сумрачную комнату с лежанкой, молодой человек остановился возле низенькой двери и вынул из кармана брюк большой ключ. С трудом повернув его в ржавой замочной скважине, он распахнул дверь, что-то пробормотал, – и Ивлев увидел каморку в два окна; у одной стены ее стояла железная голая койка, у другой – два книжных шкапчика из карельской березы.

– Это и есть библиотека? – спросил Ивлев, подходя к одному из них.

И молодой человек, поспешив ответить утвердительно, помог ему растворить шкапчик и жадно стал следить за его руками.

Престранные книги составляли эту библиотеку! Раскрывал Ивлев толстые переплеты, отворачивал шершавую серую страницу и читал: «Заклятое урочище»... «Утренняя звезда и ночные демоны»... «Размышления о таинствах мироздания»... «Чудесное путешествие в волшебный край»... «Новейший сонник»... А руки все-таки слегка дрожали. Так вот чем питалась та одинокая душа, что навсегда затворилась от мира в этой каморке и еще так недавно ушла из нее... Но, может быть, она, эта душа, и впрямь не совсем была безумна? «Есть бытие, – вспомнил Ивлев стихи Баратынского, – есть бытие, но именем каким его назвать? Ни сон оно, ни бдение, – меж них оно, и в человеке им с безумием граничит разуменье...» Расчистило на западе, золото глядело оттуда из-за красивых лиловатых облаков и странно озаряло этот бедный приют любви, любви непонятной, в какое-то экстатическое житие превратившей целую человеческую жизнь, которой, может, надлежало быть самой обыденной жизнью, не случись какой-то загадочной в своем обаянии Лушки...

Взяв из-под койки скамеечку, Ивлев сел перед шкапом и вынул папиросы, незаметно оглядывая и запоминая комнату.

– Вы курите? – спросил он молодого человека, стоявшего над ним.

Тот опять покраснел.

– Курю, – пробормотал он и попытался улыбнуться. – То есть не то что курю, скорее балуюсь... А впрочем, позвольте, очень благодарен вам...

И, неловко взяв папиросу, закурил дрожащими руками, отошел к подоконнику и сел на него, загораживая желтый свет зари.

– А это что? – спросил Ивлев, наклоняясь к средней полке, на которой лежала только одна очень маленькая книжечка, похожая на молитвенник, и стояла шкатулка, углы которой были обделаны в серебро, потемневшее от времени.

– Это так... В этой шкатулке ожерелье покойной матушки, – запнувшись, но стараясь говорить небрежно, ответил молодой человек.

– Можно взглянуть?

– Пожалуйста... хотя оно ведь очень простое... вам не может быть интересно...

И, открыв шкатулку, Ивлев увидел заношенный шнурок, снизу дешевеньких голубых шариков, похожих на каменные. И такое волнение овладело им при взгляде на эти шарики, некогда лежавшие на шее той, которой суждено было быть столь любимой и чей смутный образ уже не мог не быть прекрасным, что зарябило в глазах от сердцебиения. Насмотревшись, Ивлев осторожно поставил шкатулку на место; потом взялся за книжечку. Это была крохотная, прелестно изданная почти сто лет тому назад «Грамматика любви, или Искусство любить и быть взаимно любимым».

– Эту книжечку я, к сожалению, не могу продать, – с трудом проговорил молодой человек. – Она очень дорогая... они даже под подушку ее себе клали...

– Но, может быть, вы позволите хоть посмотреть ее? – сказал Ивлев.

– Пожалуйста, – прошептал молодой человек.

И, преодолевая неловкость, смутно томясь его пристальным взглядом, Ивлев стал медленно перелистывать «Граматику любви». Она вся делилась на маленькие главы: «О красоте, о сердце, об уме, о знаках любовных, о нападении и защищении, о размолвке и примирении, о любви платонической»... Каждая глава состояла из коротеньких, изящных, порою очень тонких сентенций, и некоторые из них были деликатно отмечены пером, красными чернилами. «Любовь не есть простая эпизода в нашей жизни, – читал Ивлев. – Разум наш противоречит сердцу и не убеждает оно. – Женщины никогда не были так сильны, как когда они вооружаются слабостью. – Женщину мы обожаем за то, что она властвует над нашей мечтой идеальной. – Тщеславие выбирает, истинная любовь не выбирает. – Женщина прекрасная должна занимать вторую ступень; первая принадлежит женщине милой. Сия-то делается владчицей нашего сердца: прежде нежели мы отдадим о ней отчет сами себе, сердце наше делается невольником любви навеки...» Затем шло «изъяснение языка цветов», и опять кое-что было отмечено: «Дикий мак – печаль. Вересклед – твоя прелесть запечатлена в моем сердце. Могильница – сладостные воспоминания. Печальный гераний – меланхолия. Полынь – вечная горесть»... А на чистой страничке в самом конце было мелко, бисерно написано теми же красными чернилами четверостишие. Молодой человек вытянул шею, заглядывая в «Граматику любви», и сказал с деланой усмешкой:

– Это они сами сочинили...

Через полчаса Ивлев с облегчением простился с ним. Из всех книг он за дорогую цену купил только эту книжечку. Мутно-золотая заря блекла в облаках за полями, отсвечивала в лужах, мокро и зелено было в полях. Малый не спешил, но Ивлев не понукал его. Малый рассказывал, что та женщина, которая давеча гнала по лопухам индюшек, – жена дьякона, что молодой Хвоцинский живет с нею. Ивлев не слушал. Он все думал о Лушке, о ее ожерелье, которое оставило в нем чувство сложное, похожее на то, какое испытал он когда-то в одном итальянском городке при взгляде на реликвии одной святой. «Вошла она навсегда в мою жизнь!» – подумал он. И, вынув из кармана «Граматику любви», медленно перечитал при свете зари стихи, написанные на ее последней странице.

Тебе сердца любивших скажут:  
«В преданьях сладостных живи!»  
И внукам, правнукам покажут  
Сию Граматику Любви.

*Москва. Февраль. 1915*



## Легкое дыхание

На кладбище, над свежей глиняной насыпью стоит новый крест из дуба, крепкий, тяжелый, гладкий.

Апрель, дни серые; памятники кладбища, просторного, уездного, еще далеко видны сквозь голые деревья, и холодный ветер звенит и звенит фарфоровым венком у подножия креста.

В самый же крест вделан довольно большой, выпуклый фарфоровый медальон, а в медальоне – фотографический портрет гимназистки с радостными, поразительно живыми глазами.

Это Оля Мещерская.

Девочкой она ничем не выделялась в толпе коричневых гимназических платьиц: что можно было сказать о ней, кроме того, что она из числа хорошеньких, богатых и счастливых девочек, что она способна, но шаловлива и очень беспечна к тем наставлениям, которые ей делает классная дама? Затем она стала расцветать, развиваться не по дням, а по часам. В четырнадцать лет у нее, при тонкой талии и стройных ножках, уже хорошо обрисовывались груди и все те формы, очарование которых еще никогда не выразило человеческое слово; в пятнадцать она слыла уже красавицей. Как тщательно причесывались некоторые ее подруги, как чисто-плотны были, как следили за своими сдержанными движениями! А она ничего не боялась – ни чернильных пятен на пальцах, ни раскрасневшегося лица, ни растрепанных волос, ни заголившегося при падении на бегу колена. Без всяких ее забот и усилий и как-то незаметно пришло к ней все то, что так отличало ее в последние два года из всей гимназии, – изящество, нарядность, ловкость, ясный блеск глаз... Никто не танцевал так на балах, как Оля Мещерская, никто не бегал так на коньках, как она, ни за кем на балах не ухаживали столько, сколько за ней, и почему-то никого не любили так младшие классы, как ее. Незаметно стала она девушкой, и незаметно упрочилась ее гимназическая слава, и уже пошли толки, что она ветрена, не может жить без поклонников, что в нее безумно влюблен гимназист Шеншин, что будто бы и она его любит, но так изменчива в обращении с ним, что он покушался на самоубийство...

Последнюю свою зиму Оля Мещерская совсем сошла с ума от веселья, как говорили в гимназии. Зима была снежная, солнечная, морозная, рано опускалось солнце за высокий ельник снежного гимназического сада, неизменно погожее, лучистое, обещающее и на завтра мороз и солнце, гулянье на Соборной улице, каток в городском саду, розовый вечер, музыку и эту во все стороны скользящую на катке толпу, в которой Оля Мещерская казалась самой беззаботной, самой счастливой. И вот однажды, на большой перемене, когда она вихрем носилась по сборному залу от гонявшихся за ней и блаженно визжавших первоклассниц, ее неожиданно позвали к начальнице. Она с разбегу остановилась, сделала только один глубокий вздох, быстрым и уже привычным женским движением оправила волосы, дернула уголки передника к плечам и, сияя глазами, побежала наверх. Начальница, моложавая, но седая, спокойно сидела с вязаньем в руках за письменным столом, под царским портретом.

– Здравствуйте, mademoiselle Мещерская, – сказала она по-французски, не поднимая глаз от вязанья. – Я, к сожалению, уже не первый раз принуждена призывать вас сюда, чтобы говорить с вами относительно вашего поведения.

– Я слушаю, madame, – ответила Мещерская, подходя к столу, глядя на нее ясно и живо, но без всякого выражения на лице, и присела так легко и грациозно, как только она одна умела.

– Слушать вы меня будете плохо, я, к сожалению, убедилась в этом, – сказала начальница и, потянув нитку и завертев на лакированном полу клубок, на который с любопытством посмотрела Мещерская, подняла глаза. – Я не буду повторяться, не буду говорить пространно, – сказала она.

Мещерской очень нравился этот необыкновенно чистый и большой кабинет, так хорошо дышавший в морозные дни теплом блестящей голландки и свежестью ландышей на письменном столе. Она посмотрела на молодого царя, во весь рост написанного среди какой-то блистательной залы, на ровный пробор в молочных, аккуратно гофрированных волосах начальницы и выжидательно молчала.

– Вы уже не девочка, – многозначительно сказала начальница, втайне начиная раздражаться.

– Да, *madame*, – просто, почти весело ответила Мещерская.

– Но и не женщина, – еще многозначительнее сказала начальница, и ее матовое лицо слегка заалело. – Прежде всего, что это за прическа? Это женская прическа!

– Я не виновата, *madame*, что у меня хорошие волосы, – ответила Мещерская и чуть тронула обеими руками свою красиво убранную голову.

– Ах, вот как, вы не виноваты! – сказала начальница. – Вы не виноваты в прическе, не виноваты в этих дорогих гребнях, не виноваты, что разоряете своих родителей на туфельки в двадцать рублей! Но, повторяю вам, вы совершенно упускаете из виду, что вы пока только гимназистка...

И тут Мещерская, не теряя простоты и спокойствия, вдруг вежливо перебила ее:

– Простите, *madame*, вы ошибаетесь: я женщина. И виноват в этом – знаете кто? Друг и сосед папы, а ваш брат Алексей Михайлович Малютин. Это случилось прошлым летом в деревне...

А через месяц после этого разговора казачий офицер, некрасивый и плебейского вида, не имевший ровно ничего общего с тем кругом, к которому принадлежала Оля Мещерская, застрелил ее на платформе вокзала, среди большой толпы народа, только что прибывшей с поездом. И невероятное, ошеломившее начальницу признание Оли Мещерской совершенно подтвердилось: офицер заявил судебному следователю, что Мещерская завлекла его, была с ним близка, поклялась быть его женой, а на вокзале, в день убийства, провожая его в Новочеркасск, вдруг сказала ему, что она и не думала никогда любить его, что все эти разговоры о браке – одно ее издевательство над ним, и дала ему прочесть ту страничку дневника, где говорилось о Малютине.

– Я пробежал эти строки и тут же, на платформе, где она гуляла, поджидая, пока я кончу читать, выстрелил в нее, – сказал офицер. – Дневник этот вот он, взгляните, что было написано в нем десятого июля прошлого года.

В дневнике было написано следующее:

«Сейчас второй час ночи. Я крепко заснула, но тотчас же проснулась... Нынче я стала женщиной! Папа, мама и Толя, все уехали в город, я осталась одна. Я была так счастлива, что одна! Утром гуляла в саду, в поле, была в лесу, мне казалось, что я одна во всем мире, и я думала так хорошо, как никогда в жизни. Я и обедала одна, потом целый час играла, под музыку у меня было такое чувство, что я буду жить без конца и буду так счастлива, как никто. Потом заснула у папы в кабинете, а в четыре часа меня разбудила Катя, сказала, что приехал Алексей Михайлович. Я ему очень обрадовалась, мне было так приятно принять его и заниматься. Он приехал на паре своих вяток, очень красивых, и они все время стояли у крыльца, он остался, потому что был дождь, и ему хотелось, чтобы к вечеру просохло. Он жалел, что не застал папу, был очень оживлен и держал себя со мной кавалером, много шутил, что он давно влюблен в меня. Когда мы гуляли перед чаем по саду, была опять прелестная погода, солнце блестело через весь мокрый сад, хотя стало совсем холодно, и он вел меня под руку и говорил, что он Фауст с Маргаритой. Ему пятьдесят шесть лет, но он еще очень красив и всегда хорошо одет – мне не понравилось только, что он приехал в крылатке, – пахнет английским одеколоном, и глаза совсем молодые, черные, а борода изящно разделена на две длинные части и совершенно серебряная. За чаем мы сидели на стеклянной веранде, я почувствовала себя как

будто нездоровой и прилегла на тахту, а он курил, потом пересел ко мне, стал опять говорить какие-то любезности, потом рассматривать и целовать мою руку. Я закрыла лицо шелковым платком, и он несколько раз поцеловал меня в губы через платок... Я не понимаю, как это могло случиться, я сошла с ума, я никогда не думала, что я такая! Теперь мне один выход... Я чувствую к нему такое отвращение, что не могу пережить этого!..»

Город за эти апрельские дни стал чист, сух, камни его побелели, и по ним легко и приятно идти. Каждое воскресенье, после обедни, по Соборной улице, ведущей к выезду из города, направляется маленькая женщина в трауре, в черных лайковых перчатках, с зонтиком из черного дерева. Она переходит по шоссе грязную площадь, где много закопченных кузниц и свежо дует полевой воздух; дальше, между мужским монастырем и острогом, белеет облачный склон неба и сереет весеннее поле, а потом, когда проберешься среди луж под стеной монастыря и повернешь налево, увидишь как бы большой низкий сад, обнесенный белой оградой, над воротами которой написано Успение Божией Матери. Маленькая женщина мелко крестится и привычно идет по главной аллее. Дойдя до скамьи против дубового креста, она сидит на ветру и на весеннем холоде час, два, пока совсем не зазябнут ее ноги в легких ботинках и рука в узкой лайке. Слушая весенних птиц, сладко поющих и в холод, слушая звон ветра в фарфоровом венке, она думает иногда, что отдала бы полжизни, лишь бы не было перед ее глазами этого мертвого венка. Этот венок, этот бугор, дубовый крест! Возможно ли, что под ним та, чьи глаза так бессмертно сияют из этого выпуклого фарфорового медальона на кресте, и как совместить с этим чистым взглядом то ужасное, что соединено теперь с именем Оли Мещерской? Но в глубине души маленькая женщина счастлива, как все преданные какой-нибудь страстной мечте люди.

Женщина эта – классная дама Оли Мещерской, немолодая девушка, давно живущая какой-нибудь выдумкой, заменяющей ей действительную жизнь. Сперва такой выдумкой был ее брат, бедный и ничем не замечательный прапорщик, – она соединила всю свою душу с ним, с его будущностью, которая почему-то представлялась ей блестящей. Когда его убили под Мукденом, она убеждала себя, что она – идейная труженица. Смерть Оли Мещерской пленила ее новой мечтой. Теперь Оля Мещерская – предмет ее неотступных дум и чувств. Она ходит на ее могилу каждый праздник, по часам не спускает глаз с дубового креста, вспоминает бледное личико Оли Мещерской в гробу, среди цветов – и то, что однажды подслушала: однажды на большой перемене, гуляя по гимназическому саду, Оля Мещерская быстро, быстро говорила своей любимой подруге, полной, высокой Субботиной:

– Я в одной папиной книге – у него много старинных, смешных книг – прочла, какая красота должна быть у женщины... Там, понимаешь, столько насаказано, что всего не упомнишь: ну, конечно, черные, кипящие смолой глаза, – ей-богу, так и написано: кипящие смолой! – черные, как ночь, ресницы, нежно играющий румянец, тонкий стан, длиннее обыкновенного руки, – понимаешь, длиннее обыкновенного! – маленькая ножка, в меру большая грудь, правильно округленная икра, колена цвета раковины, покатые плечи, – я многое почти наизусть выучила, так все это верно! – но главное, знаешь ли что? Легкое дыхание! А ведь оно у меня есть, – ты послушай, как я вздыхаю, – ведь правда, есть?

Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре.

## Митина любовь

### I

В Москве последний счастливый день Мити был девятого марта. Так, по крайней мере, казалось ему.

Они с Катей шли в двенадцатом часу утра вверх по Тверскому бульвару. Зима внезапно уступила весне, на солнце было почти жарко. Как будто правда прилетели жаворонки и принесли с собой тепло, радость. Все было мокро, все таяло, с домов капали капли, дворники скалывали лед с тротуаров, сбрасывали липкий снег с крыш, всюду было многолюдно, оживленно. Высокие облака расходились тонким белым дымом, сливаясь с влажно-синеющим небом. Вдали с благостной задумчивостью высился Пушкин, сиял Страстной монастырь. Но лучше всего было то, что Катя, в этот день особенно хорошенькая, вся дышала простосердечием и близостью, часто с детской доверчивостью брала Митю под руку и снизу заглядывала в лицо ему, счастливому даже как будто чуть-чуть высокомерно, шагавшему так широко, что она едва поспевала за ним.

Возле Пушкина она неожиданно сказала:

– Как ты смешно, с какой-то милой мальчишеской неловкостью растягиваешь свой большой рот, когда смеешься. Не обижайся, за эту-то улыбку я и люблю тебя. Да вот еще за твои византийские глаза...

Стараясь не улыбаться, пересиливая и тайное довольство и легкую обиду, Митя дружелюбно ответил, глядя на памятник, теперь уже высоко поднявшийся перед ними:

– Что до мальчишества, то в этом отношении мы, кажется, недалеко ушли друг от друга. А на византийца я похож так же, как ты на китайскую императрицу. Вы все просто помешались на этих Византиях, Возрождениях... Не понимаю я твоей матери!

– Что ж, ты бы на ее месте меня в терем запер? – спросила Катя.

– Не в терем, а просто на порог не пускал бы всю эту якобы артистическую богему, всех этих будущих знаменитостей из студий и консерваторий, из театральных школ, – ответил Митя, продолжая стараться быть спокойным и дружелюбно небрежным. – Ты же сама мне говорила, что Буковецкий уже звал тебя ужинать в Стрельну, а Егоров предлагал лепить голую, в виде какой-то умирающей морской волны, и, конечно, страшно польщена такой честью.

– Я все равно даже ради тебя не откажусь от искусства, – сказала Катя. – Может быть, я и гадкая, как ты часто говоришь, – сказала она, хотя Митя никогда не говорил ей этого, – может, я испорченная, но бери меня такую, какая я есть. И не будем ссориться, перестань ты меня ревновать хоть нынче, в такой чудный день! Как ты не понимаешь, что ты для меня все-таки лучше всех, единственный? – негромко и настойчиво спросила она, уже с деланой обольстительностью заглядывая ему в глаза, и задумчиво, медленно продекламировала:

Меж нами дремлющая тайна,  
Душа душе дала кольцо...

Это последнее, эти стихи уже совсем больно задели Митю. Вообще, многое даже и в этот день было неприятно и больно. Неприятна была шутка насчет мальчишеской неловкости: подобные шутки он слышал от Кати уже не в первый раз, и они были не случайны, – Катя нередко проявляла себя то в том, то в другом более взрослой, чем он, нередко (и невольно, то есть вполне естественно) выказывала свое превосходство над ним, и он с болью воспринимал это как признак ее какой-то тайной порочной опытности. Неприятно было «все-таки» («ты все-

таки для меня лучше всех») и то, что это было сказано почему-то внезапно пониженным голосом, особенно же неприятны были стихи, их манерное чтение. Однако даже стихи и это чтение, то есть то самое, что больше всего напоминало Мите среду, отнимавшую у него Катю, остро возбуждавшую его ненависть и ревность, он перенес сравнительно легко в этот счастливый день девятого марта, его последний счастливый день в Москве, как часто казалось ему потом.

В этот день, на возвратном пути с Кузнецкого моста, где Катя купила у Циммермана несколько вещей Скрябина, она между прочим заговорила о его, Митиной, маме и сказала, смеясь:

– Ты не можешь себе представить, как я заранее боюсь ее!

Почему-то ни разу за все время их любви не касались они вопроса о будущем, о том, чем их любовь кончится. И вот вдруг Катя заговорила о его маме и заговорила так, точно само собой подразумевалось, что мама – ее будущая свекровь.

## II

Потом все шло как будто по-прежнему. Митя провожал Катю в студию Художественного театра, на концерты, на литературные вечера или сидел у нее на Кисловке и засиживался до двух часов ночи, пользуясь странной свободой, которую давала ей ее мать, всегда курящая, всегда нарумяненная дама с малиновыми волосами, милая, добрая женщина (давно жившая отдельно от мужа, у которого была вторая семья). Забегала и Катя к Мите, в его студенческие номера на Молчановке, и свидания их, как и прежде, почти сплошь протекали в тяжком дурмане поцелуев. Но Мите упорно казалось, что внезапно началось что-то страшное, что что-то изменилось, стало меняться в Кате.

Быстро пролетело то незабвенное легкое время, – когда они только что встретились, когда они, едва познакомившись, вдруг почувствовали, что им всего интереснее говорить (и хоть с утра до вечера) только друг с другом, когда Митя столь неожиданно оказался в том сказочном мире любви, которого он втайне ждал с детства, с отрочества. Этим временем был декабрь, – морозный, погожий, день за днем украшавший Москву густым инеем и мутно-красным шаром низкого солнца. Январь, февраль закружили Митину любовь в вихре непрерывного счастья, уже как бы осуществленного или, по крайней мере, вот-вот готового осуществиться. Но уже и тогда что-то стало (и все чаще и чаще) смущать, отравлять это счастье. Уже и тогда нередко казалось, что как будто есть две Кати: одна та, которой с первой минуты своего знакомства с ней стал настойчиво желать, требовать Митя, а другая – подлинная, обыкновенная, мучительно не совпадавшая с первой. И все же ничего подобного теперешнему не испытывал Митя тогда.

Все можно было объяснить. Начались весенние женские заботы, покупки, заказы, бесконечные переделки то того, то другого, и Кате действительно приходилось часто бывать с матерью у портних; кроме того, у нее впереди был экзамен в той частной театральной школе, где училась она. Вполне естественной поэтому могла быть ее озабоченность, рассеянность. И так Митя поминутно и утешал себя. Но утешения не помогали – то, что говорило мнительное сердце вопреки им, было сильнее и подтверждалось все очевиднее: внутренняя невнимательность Кати к нему все росла, а вместе с тем росла и его мнительность, его ревность. Директор театральной школы кружил Кате голову похвалами, и она не могла удержаться, рассказывала Мите об этих похвалах. Директор сказал ей: «Ты гордость моей школы», – он всем своим ученицам говорил «ты» – и, помимо общих занятий, стал заниматься с ней потом еще и отдельно, чтобы блеснуть ею на экзаменах особенно. Было же известно, что он развращал учениц, каждое лето увозил какую-нибудь с собой на Кавказ, в Финляндию, за границу. И Мите стало приходиться в голову, что теперь директор имеет виды на Катю, которая, хотя и не виновата в этом, все-таки, вероятно, это чувствует, понимает и потому уже как бы находится с ним в мерзких,

преступных отношениях. И мысль эта мучила тем более, что слишком очевидно было уменьшение внимания Кати.

Казалось, что вообще что-то стало отвлекать ее от него. Он не мог спокойно думать о директоре. Но что директор! Казалось, что вообще над Катиной любовью стали преобладать какие-то другие интересы. К кому, к чему? Митя не знал, он ревновал Катю ко всем, ко всему, главное, к тому общему, им воображаемому, чем втайне от него уже будто бы начала жить она. Ему казалось, что ее непреодолимо тянет куда-то прочь от него и, может быть, к чему-то такому, о чем даже и помыслить страшно.

Раз Катя, полушутя, сказала ему в присутствии матери:

– Вы, Митя, вообще рассуждаете о женщинах по Домострою. И из вас выйдет совершенный Отелло. Вот уж никогда бы не влюбилась в вас и не пошла за вас замуж!

Мать возразила:

– А я не представляю себе любви без ревности. Кто не ревнует, тот, по-моему, не любит.

– Нет, мама, – сказала Катя со своею постоянной склонностью повторять чужие слова, – ревность это неуважение к тому, кого любишь. Значит, меня не любят, если мне не верят, – сказала она, нарочно не глядя на Митю.

– А по-моему, – возразила мать, – ревность и есть любовь. Я даже это где-то читала. Там это было очень хорошо доказано и даже с примерами из Библии, где сам Бог называется ревнителем и мстителем...

Что до Митиной любви, то она теперь почти всецело выражалась только в ревности. И ревность эта была не простая, а какая-то, как ему казалось, особенная. Они с Катей еще не переступили последней черты близости, хотя позволяли себе в те часы, когда оставались одни, слишком многое. И теперь, в эти часы, Катя бывала еще страстнее, чем прежде. Но теперь и это стало казаться подозрительным и возбуждало порою ужасное чувство. Все чувства, из которых состояла его ревность, были ужасны, но среди них было одно, которое было ужаснее всех и которое Митя никак не умел, не мог определить и даже понять. Оно заключалось в том, что те проявления страсти, то самое, что было так блаженно и сладостно, выше и прекраснее всего в мире в применении к ним, Мите и Кате, становилось несказанно мерзко и даже казалось чем-то противоестественным, когда Митя думал о Кате и о другом мужчине. Тогда Катя возбуждала в нем острую ненависть. Все, что, глаз на глаз, делал с ней он сам, было полно для него райской прелести и целомудрия. Но как только он представлял себе на своем месте кого-нибудь другого, все мгновенно менялось, – все превращалось в нечто бесстыдное, возбуждающее жажду задушить Катю и, прежде всего, именно ее, а не воображаемого соперника.

### III

В день экзамена Кати, который состоялся наконец (на шестой неделе поста), как будто особенно подтвердилась вся правота Митиных мучений.

Тут Катя уже совсем не видела, не замечала его, была вся чужая, вся публичная.

Она имела большой успех. Она была во всем белом, как невеста, и волнение делало ее прелестной. Ей дружно и горячо хлопали, и директор, самодовольный актер с бесстрастными и печальными глазами, сидевший в первом ряду, только ради пушей гордости делал ей иногда замечания, говоря негромко, но как-то так, что было слышно на всю залу и звучало нестерпимо.

– Поменьше читки, – говорил он веско, спокойно и так властно, точно Катя была его полной собственностью. – Не играй, а переживай, – говорил он раздельно.

И это было нестерпимо. Да нестерпимо было и самое чтение, вызывавшее рукоплескания. Катя горела жарким румянцем, смущением, голосок ее иногда срывался, дыхания не хватало, и это было трогательно, очаровательно. Но читала она с той пошлой певучестью, фальшью и глупостью в каждом звуке, которые считались высшим искусством чтения в той ненавист-

ной для Мити среде, в которой уже всеми помыслами своими жила Катя: она не говорила, а все время восклицала с какой-то назойливой томной страстностью, с неумеренной, ничем не обоснованной в своей настойчивости мольбой, и Митя не знал, куда глаза девать от стыда за нее. Ужаснее же всего была та смесь ангельской чистоты и порочности, которая была в ней, в ее разгоревшемся личике, в ее белом платье, которое на эстраде казалось короче, так как все сидящие в зале глядели на Катю снизу, в ее белых туфельках и в обтянутых шелковыми белыми чулками ногах. «Девушка пела в церковном хоре», – с деланой, неумеренной наивностью читала Катя о какой-то будто бы ангельски невинной девушке. И Митя чувствовал и обостренную близость к Кате, – как всегда это чувствуешь в толпе к тому, кого любишь, – и злую враждебность, чувствовал и гордость ею, сознание, что ведь все-таки ему принадлежит она, и вместе с тем разрывающую сердце боль: нет, уже не принадлежит!

После экзамена были опять счастливые дни. Но Митя уже не верил им с той легкостью, как прежде. Катя, вспоминая экзамен, говорила:

– Какой ты глупый! Разве ты не чувствовал, что я и читала-то так хорошо только для тебя одного!

Но он не мог забыть, что чувствовал он на экзамене, и не мог сознаться, что эти чувства и теперь не оставили его. Чувствовала его тайные чувства и Катя и однажды, во время ссоры, воскликнула:

– Не понимаю, за что ты любишь меня, если, по-твоему, все так дурно во мне! И чего ты, наконец, хочешь от меня?

Но он и сам не понимал, за что он любил ее, хотя чувствовал, что любовь его не только не уменьшается, но все возрастает вместе с той ревнивой борьбой, которую он вел с кем-то, с чем-то из-за нее, из-за этой любви, из-за ее напрягающейся силы, все более возрастающей требовательности.

– Ты любишь только мое тело, а не душу! – горько сказала однажды Катя.

Опять это были чьи-то чужие, театральные слова, но они, при всей их вздорности и избытости, тоже касались чего-то мучительно-неразрешимого. Он не знал, за что любил, не мог точно сказать, чего хотел... Что это значит вообще – любить? Ответить на это было тем более невозможно, что ни в том, что слышал Митя о любви, ни в том, что читал он о ней, не было ни одного точно определяющего ее слова. В книгах и в жизни все как будто раз и навсегда условились говорить или только о какой-то почти бесплотной любви, или только о том, что называется страстью, чувственностью. Его же любовь была не похожа ни на то, ни на другое. Что испытывал он к ней? То, что называется любовью, или то, что называется страстью? Душа Кати или тело доводило его почти до обморока, до какого-то предсмертного блаженства, когда он расстегивал ее кофточку и целовал ее грудь, райски прелестную и девственную, раскрытую с какой-то душой потрясающей покорностью, бесстыдностью чистейшей невинности?

## IV

Она все больше менялась.

Успех на экзамене много значил. И все-таки были на то и какие-то другие причины.

Как-то сразу превратилась Катя с наступлением весны как бы в какую-то молоденькую светскую даму, нарядную и все куда-то спешащую. Мите теперь просто стыдно было за свой темный коридор, когда она приезжала, – теперь она не приходила, а всегда приезжала, – когда она, шурша шелком, быстро шла по этому коридору, опустив на лицо вуальку. Теперь она бывала неизменно нежна с ним, но неизменно опаздывала и сокращала свидания, говоря, что ей опять надо ехать с мамой к портнихе.

– Понимаешь, франтим напропалую! – говорила она, кругло, весело и удивленно блестя глазами, отлично понимая, что Митя не верит ей, и все-таки говоря, так как говорить теперь стало совсем не о чем.

И шляпки она теперь почти никогда не снимала, и зонтика не выпускала из рук, на отлете сидя на кровати Мити и с ума сводя его своими икрами, обтянутыми шелковыми чулками. А перед тем как уехать и сказать, что нынче вечером ее опять не будет дома, – опять надо к кому-то с мамой! – она неизменно проделывала одно и то же, с явной целью одурачить его, наградить за все его «глупые», как она выражалась, мучения: притворно-воровски взглядывала на дверь, соскальзывала с кровати и, вильнув бедрами по его ногам, говорила поспешным шепотом:

– Ну, целуй же меня!

## V

И в конце апреля Митя наконец решил дать себе отдых и уехать в деревню.

Он совершенно замучил и себя и Катю, и мука эта была тем нестерпимее, что как будто не было никаких причин для нее: что в самом деле случилось, в чем виновата Катя? И однажды Катя, с твердостью отчаяния, сказала ему:

– Да, уезжай, уезжай, я больше не в силах! Нам надо временно расстаться, выяснить наши отношения. Ты стал так худ, что мама убеждена, что у тебя чахотка. Я больше не могу!

И отъезд Мити был решен. Но уезжал Митя, к великому своему удивлению, хотя и не помня себя от горя, все-таки почти счастливый. Как только отъезд был решен, неожиданно вернулось все прежнее. Ведь он все-таки страстно не хотел верить ничему тому ужасному, что ни днем, ни ночью не давало ему покоя. И достаточно было малейшей перемены в Кате, чтобы опять все изменилось в его глазах. А Катя опять стала нежна и страстна уже без всякого притворства, – он чувствовал это с безошибочной чуткостью ревнивых натур, – и опять стал он сидеть у нее до двух часов ночи, и опять было о чем говорить, и чем ближе становился отъезд, тем все нелепее казалась разлука, надобность «выяснить отношения». Раз Катя даже заплакала, – а она никогда не плакала, – и эти слезы вдруг сделали ее страшно родною ему, пронзили его чувством острой жалости и как будто какой-то вины перед ней.

Мать Кати в начале июня уезжала на все лето в Крым и увозила и ее с собой. Решили встретиться в Мисхоре. Митя тоже должен был приехать в Мисхор.

И он собирался, делал приготовления к отъезду, ходил по Москве в том странном опьянении, которое бывает, когда человек еще бодро держится на ногах, но уже болен какой-то тяжелой болезнью. Он был болезненно, пьяно несчастен и вместе с тем болезненно счастлив, растроган возвратившейся близостью Кати, ее заботливостью к нему, – она даже ходила с ним покупать дорожные ремни, точно она была его невеста или жена, – и вообще возвратом почти всего того, что напоминало первое время их любви. И так же воспринимал он и все окружающее, – дома, улицы, идущих и едущих по ним, погоду, все время по-весеннему хмурившуюся, запах пыли и дождя, церковный запах тополей, распустившихся за заборами в переулках: все говорило о горечи разлуки и о сладости надежды на лето, на встречу в Крыму, где уже ничто не будет мешать и все осуществится (хотя он и не знал, что именно все).

В день отъезда зашел проститься Протасов. Среди гимназистов старших классов, среди студентов нередко встречаются юноши, усвоившие себе манеру держаться с добродушно-угрюмой насмешливостью, с видом человека, который старше, опытнее всех на свете. Таков был и Протасов, один из ближайших приятелей Мити, единственный настоящий друг его, знавший, несмотря на всю скрытность, молчаливость Мити, все тайны его любви. Он глядел, как Митя завязывал чемодан, видел, как тряслись его руки, потом с грустной мудростью ухмыльнулся и сказал:



– Чистые вы дети, прости господи! А за всем тем, любезный мой Вертер из Тамбова, все же пора бы понять, что Катя есть прежде всего типичнейшее женское естество и что сам полицеймейстер ничего с этим не поделает. Ты, естество мужское, лезешь на стену, предъявляешь к ней высочайшие требования инстинкта продолжения рода, и, конечно, все сие совершенно законно, даже в некотором смысле священо. Тело твое есть высший разум, как справедливо заметил герр Ницше. Но законно и то, что ты на этом священном пути можешь сломать себе шею. Есть же особи в мире животном, коим даже по штату полагается платить ценой собственного существования за свой первый и последний любовный акт. Но так как для тебя этот штат, вероятно, не совсем уж обязателен, то смотри в оба, поберегай себя. Вообще, не спеши. «Юнкер Шмит, честное слово, лето возвратится!» Свет не лыком шит, не клином на Кате сошелся. Вижу по твоим усилиям задушить чемодан, что ты с этим совершенно не согласен, что этот клин тебе весьма любезен. Ну, прости за непрошенный совет – и да хранит тебя Николай-угодник со всеми присными его!

А когда Протасов, тиснув Мите руку, ушел, Митя, затягивая в ремни подушку и одеяло, услышал в свое открытое во двор окно, как загремел, пробуя голос, студент, живший напротив, учившийся пению и упражнявшийся с утра до вечера, – запел «Азру». Тогда Митя зашепшил с ремнями, застегнул их как попало, схватил картуз и пошел на Кисловку, – проститься с матерью Кати. Мотив и слова песни, которую запел студент, так настойчиво звучали и повторялись в нем, что он не видел ни улиц, ни встречаемых, шел еще пьянее, чем ходил все последние дни. В самом деле было похоже на то, что свет клином сошелся, что юнкер Шмит из пистолета хочет застрелиться! Ну, что ж, сошелся так сошелся, думал он и опять возвращался к песне о том, как, гуляя по саду и «красой своей сияя», встречала дочь султана в саду черного невольника, который стоял у фонтана «бледнее смерти», как однажды спросила она его, кто он и откуда, и как ответил он ей, начав зловеще, но смиренно, с угрюмой простотой:

Зовусь Магометом я... –

и кончив восторженно-трагическим воплем:

– Я из рода бедных Азров,  
Полюбив, мы умираем!

Катя одевалась, чтобы ехать на вокзал провожать его, ласково крикнула ему из своей комнаты, – из комнаты, где он провел столько незабвенных часов! – что она приедет к первому звонку. Милая, добрая женщина с малиновыми волосами сидела одна, курила и очень грустно посмотрела на него, – она, вероятно, все давно понимала, обо всем догадывалась. Он, весь алый, внутренне дрожащий, поцеловал ее нежную и дряблую руку, по-сыновьи склонив голову, и она с материнской лаской несколько раз поцеловала его в висок и перекрестила.

– Эх, милый, – с несмелой улыбкой сказала она словами Грибоедова, – живите-ка смеясь! Ну, Христос с вами, поезжайте, поезжайте...

## VI

Сделав все то последнее, что нужно было сделать в номерах, уложив свои вещи в кривую извозничью пролетку при помощи коридорного, он наконец неловко уселся возле них, тронулся и тотчас же почувствовал то особое, что охватывает при отъезде, – кончен (и навсегда) известный срок жизни! – и вместе с тем внезапную легкость, надежду на начало чего-то нового. Он несколько успокоился и бодрее, как бы новыми глазами стал глядеть вокруг. Конеч, прощай Москва и все, что пережито в ней! Накрапывало, хмурилось, в переулках было пусто,

булыжник был темен и блестел, как железный, дома стояли невеселые, грязные. Извозчик вез с мучительной неспешностью и то и дело заставлял Митю отворачиваться и стараться не дышать. Проехали Кремль, потом Покровку и опять свернули в переулки, где в садах хрипло орала к дождю и к вечеру ворона, а все же была весна, весенний запах воздуха. Но вот наконец доехали, и Митя бегом кинулся за носильщиком по людному вокзалу, на перрон, потом на третий путь, где уже был готов длинный и тяжелый курский поезд. И из всей огромной и безобразной толпы, осаждавшей поезд, из-за всех носильщиков, с грохотом и предупреждающими покрикиваниями кативших тележки с вещами, он мгновенно выделил, увидел то, что, «красой своей сияя», одиноко стояло вдаль и казалось совершенно особым существом не только во всей этой толпе, но и во всем мире. Уже пробил первый звонок, – на этот раз опоздал он, а не Катя. Она трогательно приехала раньше его, она его ждала и кинулась к нему опять с заботливостью жены или невесты:

– Милый, занимай скорее место! Сейчас второй звонок!

А после второго звонка она еще трогательнее стояла на платформе, снизу глядя на него, стоявшего в дверях третьеклассного вагона, уже битком набитого и вонючего. Все в ней было прелестно, – ее милое, хорошенькое личико, ее небольшая фигурка, ее свежесть, молодость, где женственность еще мешалась с детскостью, ее вверх поднятые сияющие глаза, ее голубая скромная шляпка, в изгибах которой была некоторая изящная задорность, и даже ее темно-серый костюм, в котором Митя с обожанием чувствовал даже материю и шелк подкладки. Он стоял худой, нескладный, на дорогу он надел высокие грубые сапоги и старую куртку, пуговицы которой были обтерты, краснели медью. И все-таки Катя смотрела на него непритворно любящим и грустным взглядом. Третий звонок так неожиданно и резко ударил по сердцу, что Митя ринулся с площадки вагона как безумный и так же безумно, с ужасом кинулась к нему навстречу Катя. Он припал к ее перчатке и, вскочив назад, в вагон, сквозь слезы замахал ей картузом с неистовым восторгом, а она подхватила рукой юбку и поплыла вместе с платформой назад, все еще не спуская с него поднятого взгляда. Она плыла еще быстрее, ветер все сильнее трепал волосы высунувшегося из окна Мити, а паровоз расходился все шибче, все беспощаднее, наглым, угрожающим ревом требуя путей, – и вдруг точно сорвало и ее и конец платформы...

## VII

Давно наступили долгие весенние сумерки, темные от дождевых туч, тяжелый вагон грохотал в голом и прохладном поле, – в полях весна была еще ранняя, – шли кондуктора по коридору вагона, спрашивая билеты и вставляя в фонари свечи, а Митя все еще стоял возле дребезжащего окна, чувствуя запах Катиной перчатки, оставшийся на его губах, все еще весь пылал острым огнем последнего мига разлуки. И вся длинная московская зима, счастливая и мучительная, преобразившая всю жизнь его, вся целиком и уже совсем в каком-то новом свете вставала перед ним. В новом свете, опять в новом, стояла теперь перед ним и Катя... Да, да, кто она, что она такое? А любовь, страсть, душа, тело? Это что такое? Ничего этого нет, – есть что-то другое, совсем другое! Вот этот запах перчатки – разве это тоже не Катя, не любовь, не душа, не тело? И мужики, рабочие в вагоне, женщина, которая ведет в отхожее место своего безобразного ребенка, тусклые свечи в дребезжащих фонарях, сумерки в весенних пустых полях – все любовь, все душа, и все мука, и все несказанная радость.

Утром был Орел, пересадка, провинциальный поезд возле дальней платформы. И Митя почувствовал: какой это простой, спокойный и родной мир по сравнению с московским, уже отошедшим куда-то в тридцатое царство, центром которого была Катя, теперь такая как будто одинокая, жалкая, любимая только нежно! Даже небо, кое-где подмазанное бледной синевой дождевых облаков, даже ветер тут проще и спокойнее... Поезд из Орла шел не спеша, Митя

не спеша ел тульский печатный пряник, сидя в почти пустом вагоне. Потом поезд разошелся и умотал, усыпил его.

Проснулся он только в Верховье. Поезд стоял, было довольно многолюдно и суетливо, но тоже как-то захолустно. Приятно пахло чадом станционной кухни. Митя с удовольствием съел тарелку щей и выпил бутылку пива, потом опять задремал, – глубокая усталость напала на него. А когда он опять очнулся, поезд мчался по весеннему березовому лесу, уже знакомому, перед последней станцией. Опять по-весеннему сумрачно темнело, в открытое окно пахло дождем и как будто грибами. Лес стоял еще совсем голый, но все же грохотанье поезда отдавалось в нем отчетливее, чем в поле, а вдали уже мелькали по-весеннему печальные огоньки станции. Вот и высокий зеленый огонь семафора, – особенно прелестный в такие сумерки в березовом голом лесу, – и поезд со стуком стал переходить на другой путь... Боже, как по-деревенски жалок и мил работник, ждущий барчука на платформе!

Сумерки и тучи все стучались, пока ехали от станции по большому селу, тоже еще весеннему, грязному. Все тонуло в этих необыкновенно мягких сумерках, в глубочайшей тишине земли, теплой ночи, слившейся с темнотой неопределенных, низко нависших дождевых туч, и опять Митя дивился и радовался: как спокойна, проста, убога деревня, эти пахучие курные избы, уже давно спящие, – с Благовещенья добрые люди не вздувают огня, – и как хорошо в этом темном и теплом степном мире! Тарантас нырял по ухабам, по грязи, дубы за двором богатого мужика высились еще совсем нагие, неприветливые, чернели грачиными гнездами. У избы стоял и глядывался в сумрак странный, как будто из древности, мужик: босые ноги, рванный армяк, баранья шапка на длинных прямых волосах... И пошел теплый, сладостный, душистый дождь. Митя подумал о девках, о молодых бабах, спящих в этих избах, обо всем женском, к чему он приблизился за зиму с Катей, и все слилось в одно – Катя, девки, ночь, весна, запах дождя, запах распаханной, готовой к оплодотворению земли, запах лошадиного пота и воспоминание о запахе лайковой перчатки.

## VIII

В деревне жизнь началась днями мирными, очаровательными.

Ночью по пути со станции Катя как будто померкла, растворилась во всем окружающем. Но нет, это только так показалось и казалось еще несколько дней, пока Митя отсыпался, приходил в себя, привыкал к новизне с детства знакомых впечатлений родного дома, деревни, деревенской весны, весенней наготы и пустоты мира, опять чисто и молодо готового к новому расцвету.

Усадьба была небольшая, дом старый и незатейливый, хозяйство несложное, не требующее большой дворни, – жизнь для Мити началась тихая. Сестра Аня, второклассница-гимназистка, и брат Костя, подросток-кадет, были еще в Орле, учились, должны были приехать не раньше начала июня. Мама, Ольга Петровна, была, как всегда, занята хозяйством, в котором ей помогал только приказчик, – староста, как называли его на дворе, – часто бывала в поле, ложилась спать, как только темнело.

Когда Митя, на другой день по приезде, проспавши двенадцать часов, вымытый, во всем чистом, вышел из своей солнечной комнаты, – она была окнами в сад, на восток, – и прошел по всем другим, он живо испытал чувство их родственности и мирной, успокаивающей и душу и тело простоты. Везде все стояло на своих привычных местах, как и много лет тому назад, и так же знакомо и приятно пахло; везде к его приезду все было прибрано, во всех комнатах были вымыты полы. Домывали только зал, примыкавший к прихожей, к лакейской, как ее называли еще до сих пор. Веснушчатая девка, поденщица с деревни, стояла на окне возле дверей на балконе, тянулась к верхнему стеклу, со свистом протирая его и отражаясь в нижних стеклах синеватым, как бы далеким, отражением. Горничная Параша, вытащив большую тряпку из ведра

с горячей водой, босая, белоногая, шла по залитому полу на маленьких пятках и сказала друженно-развязной скороговоркой, вытирая пот с разгоревшегося лица сгибом засученной руки:

– Идите кушайте чай, мамаша еще до свету уехали на станцию со старостой, вы небось и не слышали...

И тотчас же Катя властно напомнила о себе: Митя поймал себя на вожделении к этой засученной женской руке и к женственному изгибу тянувшейся вверх девки на окне, к ее юбке, под которую крепкими тумбочками уходили голые ноги, и с радостью ощутил власть Кати, свою принадлежность ей, почувствовал ее тайное присутствие во всех впечатлениях этого утра.

И присутствие это чувствовалось все живее и живее с каждым новым днем и становилось все прекраснее, по мере того как Митя приходил в себя, успокаивался и забывал ту, обыкновенную, Катю, которая в Москве так часто и так мучительно не сливалась с Катей, созданной его желанием.

## IX

Первый раз жил он теперь дома взрослым, с которым даже мама держалась как-то иначе, чем прежде, а главное, жил с первой настоящей любовью в душе, уже осуществляя то самое, чего тайне ждало все его существо с детства, с отрочества.

Еще в младенчестве дивно и таинственно шевельнулось в нем нечто невыразимое на человеческом языке. Когда-то и где-то, должно быть, тоже весной, в саду, возле кустов сирени, – запомнился острый запах шпанских мух, – он, совсем маленький, стоял с какой-то молодой женщиной, – вероятно, с своей нянькой, – и вдруг что-то точно озарилось перед ним небесным светом, – не то лицо ее, не то сарафан на полной груди, – и что-то горячей волной прошло, взыграло в нем, истинно как дитя во чреве матери... Но то было как во сне. Как во сне было и все, что было потом, – в детстве, отрочестве, в гимназические годы. Были какие-то особые, ни на что не похожие восхищения то одной, то другой из тех девочек, которые приезжали со своими матерями на его детские праздники, тайное жадное любопытство к каждому движению этого чарующего, тоже ни на что не похожего маленького существа в платьице, в башмачках, с бантом шелковой ленты на головке. Было (это уже позднее, в губернском городе) длившееся почти всю осень и уже гораздо более сознательное восхищение гимназисточкой, часто появлявшейся по вечерам на дереве за забором соседнего сада: ее резвость, насмешливость, коричневое платьице, круглый гребешок в волосах, грязные ручки, смех, звонкий крик – все было таково, что Митя думал о ней с утра до вечера, грустил, порою даже плакал, неутолимо что-то желая от нее. Потом и это как-то само собой кончилось, забылось, и были новые, более или менее долгие, – и опять-таки сокровенные, – восхищения, были острые радости и горести внезапной влюбленности на гимназических балах... были какие-то томления в теле, в сердце же смутные предчувствия, ожидания чего-то...

Он родился и вырос в деревне, но гимназистом поневоле проводил весну в городе, за исключением одного года, позапрошлого, когда он, приехав в деревню на Масленицу, захворал и, поправляясь, пробыл дома март и половину апреля. Это было незабвенное время. Недели две он лежал и только в окно видел каждый день меняющиеся вместе с увеличением в мире тепла и света небеса, снег, сад, его стволы и ветви. Он видел: вот утро, и в комнате так ярко и тепло от солнца, что уже ползают по стеклам оживающие мухи... вот послеобеденный час на другой день: солнце за домом, с другой его стороны, а в окне уже до голубизны бледный весенний снег и крупные белые облака в синеве, в вершинах деревьев... а вот, еще через день, в облачном небе такие яркие проголины, и на коре деревьев такой мокрый блеск, и так каплет с крыши над окном, что не нарадуешься, не наглядишься... После пошли теплые туманы, дожди, снег распустило и съело в несколько суток, тронулась река, стала радостно и ново чер-

нет, обнажаться и в саду и на дворе земля... И надолго запомнился Мите один день в конце марта, когда он в первый раз поехал верхом в поле. Небо не ярко, но так живо, так молодо светилось в бледных, в бесцветных деревьях сада. В поле еще свежо дуло, жнивья были дики и рыжи, а там, где пахали, – уже пахали под овес, – маслянисто, с первобытной мощью чернели взметы. И он целиком ехал по этим жнивьям и взметам к лесу и издалека видел его в чистом воздухе, – голый, маленький, видный из конца в конец, – потом спустился в его лощины и зашумел копытами лошади по глубокой прошлогодней листве, местами совсем сухой, полевой, местами мокрой, коричневой, переехал засыпанные ею овраги, где еще шла полая вода, а из-под кустов с треском вырывались прямо из-под ног лошади смугло-золотые вальдшнепы... Чем была для него вся эта весна и особенно этот день, когда так свежо дуло навстречу ему в поле, а лошадь, одолевавшая насыщенные влагой жнивья и черные пашни, так шумно дышала широкими ноздрями, храпя и ревя нутром с великолепной дикой силой? Казалось тогда, что именно эта весна и была его первой настоящей любовью, днями сплошной влюбленности в кого-то и во что-то, когда он любил всех гимназисток и всех девок в мире. Но каким далеким казалось ему это время теперь! Насколько был он тогда еще совсем мальчик, невинный, простосердечный, бедный своими скромными печальми, радостями и мечтаниями! Сном или, скорее, воспоминанием о каком-то чудесном сне была тогда его беспредметная, бесплотная любовь. Теперь же в мире была Катя, была душа, этот мир в себе воплотившая и надо всем над ним торжествующая.

## Х

Только раз в это первое время напомнила о себе Катя зловеще.

Однажды, поздно вечером, Митя вышел на заднее крыльцо. Было очень темно, тихо, пахло сырым полем. Из-за ночных облаков, над смутными очертаниями сада, слезились мелкие звезды. И вдруг где-то вдали что-то дико, дьявольски гукнуло и закатилось лаем, визгом. Митя вздрогнул, оцепенел, потом осторожно сошел с крыльца, вошел в темную, как бы со всех сторон враждебно сторожащую его аллею, снова остановился и стал ждать, слушать: что это такое, где оно, – то, что так неожиданно и страшно огласило сад? Сыч, лесной пугач, совершающий свою любовь, и больше ничего, думал он, а весь замирал как бы от незримого присутствия в этой тьме самого дьявола. И вдруг опять раздался гулкий, всю Митину душу потрясший вой, где-то близко, в верхушках аллеи, затрещало, зашумело – и дьявол бесшумно перенесся куда-то в другое место сада. Там он сначала залаял, потом стал жалобно, моляще, как ребенок, ныть, плакать, хлопать крыльями и клекотать с мучительным наслаждением, стал взвизгивать, закатываться таким ерническим смехом, точно его щекотали и пытали. Митя, весь дрожа, впился в темноту и глазами и слухом. Но дьявол вдруг сорвался, захлебнулся и, прорезав темный сад предсмертно-истонным воплем, точно сквозь землю провалился. Напрасно прождав возобновления этого любовного ужаса еще несколько минут, Митя тихо вернулся домой – и всю ночь мучился сквозь сон всеми теми болезненными и отвратительными мыслями и чувствами, в которые превратилась в марте в Москве его любовь.

Однако утром, при солнце, его ночные терзания быстро рассеялись. Он вспомнил, как заплакала Катя, когда они твердо решили, что он должен на время уехать из Москвы, вспомнил, с каким восторгом она ухватилась за мысль, что он тоже приедет в Крым в начале июня, и как трогательно помогала она ему в его приготовлениях к отъезду, как провожала она его на вокзале... Он вынул ее фотографическую карточку, долго, долго вглядывался в ее маленькую нарядную головку, поражаясь чистотой, ясностью ее прямого, открытого (чуть круглого) взгляда... Потом написал ей особенно длинное и особенно сердечное письмо, полное веры в их любовь, и опять возвратился к непрестанному ощущению ее любовного и светлого пребывания во всем, чем он жил и радовался.

Он помнил, что он испытал, когда умер отец, девять лет тому назад. Это было тоже весной. На другой день после этой смерти, робко, с недоумением и ужасом пройдя по залу, где с высоко поднятой грудью и сложенными на ней большими бледными руками лежал на столе, чернел своей сквозной бородой и белел носом наряженный в дворянский мундир отец, Митя вышел на крыльцо, глянул на стоявшую возле двери огромную крышку гроба, обитую золотой парчой, – и вдруг почувствовал: в мире смерть! Она была во всем: в солнечном свете, в весенней траве на дворе, в небе, в саду... Он пошел в сад, в пеструю от света липовую аллею, потом в боковые аллеи, еще более солнечные, глядел на деревья и на первых белых бабочек, слушал первых, сладко заливающихся птиц – и ничего не узнавал: во всем была смерть, страшный стол в зале и длинная парчовая крышка на крыльце! Не по-прежнему, как-то не так светило солнце, не так зеленела трава, не так замирали на весенней, только еще сверху горячей траве бабочки, – все было не так, как сутки тому назад, все преобразилось как бы от близости конца мира, и жалка, горестна стала прелесть весны, ее вечной юности! И это длилось долго и потом, длилось всю весну, как еще долго чувствовался – или мнился – в вымытом и много раз проветренном доме страшный, мерзкий, сладковатый запах...

Такое же наваждение, – только совсем другого порядка, – испытывал Митя и теперь: эта весна, весна его первой любви, тоже была совершенно иная, чем все прежние весны. Мир опять был преобразен, опять полон как будто чем-то посторонним, но только не враждебным, не ужасным, а напротив, – дивно сливающимся с радостью и молодостью весны. И это постороннее была Катя или, вернее, то прелестнейшее в мире, чего от нее хотел, требовал Митя. Теперь, по мере того как шли весенние дни, он требовал от нее все больше и больше. И теперь, когда ее не было, был только ее образ, образ не существующий, а только желанный, она, казалось, ничем не нарушала того беспорочного и прекрасного, чего от нее требовали, и с каждым днем все живее и живее чувствовалась во всем, на что бы ни взглянул Митя.

## XI

Он с радостью убедился в этом в первую же неделю своего пребывания дома. Тогда был как бы еще канун весны. Он сидел с книгой возле открытого окна гостиной, глядел меж стволов пихт и сосен в палисаднике на грязную речку в лугах, на деревню на косогорах за речкой: еще с утра до вечера, неустанно, изнемогая от блаженной хлопотливости, так, как орут они только ранней весной, орали грачи в голых вековых березах в соседнем помещичьем саду, и еще дик, сер был вид деревни на косогорах, и только еще одни лозины покрывались там желтоватой зеленью... Он шел в сад: и сад был еще низок и гол, прозрачен, – только зеленели поляны, все испещренные мелкими бирюзовыми цветочками, да опушился акатник вдоль аллей и бледно белел, мелко цвел один вишеник в ложине, в южной, нижней части сада... Он выходил в поле: еще пусто, серо было в поле, еще щеткой торчало жнивье, еще колчеваты и фиолетовы были высохшие полевые дороги... И все это была нагота молодости, поры ожидания – и все это была Катя. И это только так казалось, что отвлекают девки-поденщицы, делающие то то, то другое в усадьбе, работники в людской, чтение, прогулки, хождение на деревню к знакомым мужикам, разговоры с мамой, поездки со старостой (рослым, грубым отставным солдатом) в поле на беговых дрожках...

Потом прошла еще неделя. Раз ночью был обломный дождь, а потом горячее солнце как-то сразу вошло в силу, весна потеряла свою кротость и бледность, и все вокруг на глазах стало меняться не по дням, а по часам. Стали распахивать, превращать в черный бархат жнивья, зазеленели полевые межи, сочнее стала мурава на дворе, гуще и ярче засинело небо, быстро стал одеваться сад свежей, мягкой даже на вид зеленью, залиловели и запахли серые кисти сирени, и уже появилось множество черных, металлически блестящих синевой крупных мух на ее темно-зеленой глянцевиной листве и на горячих пятнах света на дорожках. На яблонях,

грушах еще были видны ветви, их едва тронула мелкая, сероватая и особенно мягкая листва, но эти яблони и груши, всюду простиравшие сети своих кривых ветвей под другими деревьями, все уже закудрявились млечным снегом, и с каждым днем этот цвет становился все белее, все гуще и все благовоннее. В это дивное время радостно и пристально наблюдал Митя за всеми весенними изменениями, происходящими вокруг него. Но Катя не только не отступала, не терялась среди них, а напротив, – участвовала в них во всех и всему придавала себя, свою красоту, расцветающую вместе с расцветом весны, с этим все роскошнее белеющим садом и все темнее синеющим небом.

## ХII

И вот однажды, выйдя в зал, полный предвечернего солнца, к чаю, Митя неожиданно увидел возле самовара почту, которую он напрасно ждал все утро. Он быстро подошел к столу – уж давно должна была Катя ответить хоть на одно из писем, что отправил он ей, – и ярко и жутко блеснул ему в глаза небольшой изысканный конверт с надписью на нем знакомым жалким почерком. Он схватил его и зашагал вон из дома, потом по саду, по главной аллее. Он ушел в самую дальнюю часть сада, туда, где через него проходила лощина, и, остановясь и оглянувшись, быстро разорвал конверт. Письмо было кратко, всего в несколько строк, но Мите нужно было раз пять прочесть их, чтобы наконец понять, – так колотилось его сердце. «Мой любимый, мой единственный!» – читал и перечитывал он – и земля плыла у него под ногами от этих восклицаний. Он поднял глаза: над садом торжественно и радостно сияло небо, вокруг сиял сад своей снежной белизной, соловей, уже чуя предвечерний холодок, четко и сильно, со всей сладостью соловьиного самозабвения, щелкал в свежей зелени дальних кустов – и кровь отлила от его лица, мурашки побежали по волосам...

Домой он шел медленно – чаша его любви была полна с краями. И так же осторожно носил он ее в себе и следующие дни, тихо, счастливо ожидая нового письма.

## ХIII

Сад разнообразно одевался.

Огромный старый клен, возвышавшийся над всей южной частью сада, видный отовсюду, стал еще больше и виднее, – оделся свежей, густой зеленью.

Выше и виднее стала и главная аллея, на которую Митя постоянно смотрел из своих окон: вершины ее старых лип, тоже покрывшиеся, хотя еще прозрачно, узором юной листвы, поднялись и протянулись над садом светло-зеленой грядой.

А ниже клена, ниже аллеи лежало нечто сплошное кудрявого, благоуханного сливочного цвета.

И все это: огромная и пышная вершина клена, светло-зеленая гряда аллеи, подвенечная белизна яблонь, груш, черемух, солнце, синева неба и все то, что разрасталось в низах сада, в лощине, вдоль боковых аллей и дорожек и под фундаментом южной стены дома, – кусты сирени, акации и смородины, лопухи, крапива, чернوبыльник, – все поражало своей густотой, свежестью и новизной.

На чистом зеленом дворе от надвигающейся отовсюду растительности стало как будто теснее, дом стал как будто меньше и красивее. Он как будто ждал гостей – по целым дням были открыты и двери и окна во всех комнатах: в белом зале, в синей старомодной гостиной, в маленькой диванной, тоже синей и увешанной овальными миниатюрами, и в солнечной библиотеке, большой и пустой угловой комнате со старыми иконами в переднем углу и низкими книжными шкафами из ясени вдоль стен. И везде в комнаты празднично глядели приблизив-

шиеся к дому разнообразно зеленые, то светлые, то темные, деревья с яркой синевой между ветвями.

Но письма не было. Митя знал неспособность Кати к письмам и то, как трудно ей всегда собраться сесть за письменный стол, найти перо, бумагу, конверт, купить марку... Но разумные соображения опять стали плохо помогать. Счастливая, даже гордая уверенность, с которой он несколько дней ждал второго письма, исчезла, – он томился и тревожился все сильнее. Ведь за таким письмом, как первое, тотчас же должно было последовать что-то еще более прекрасное и радующее. Но Катя молчала.

Он реже стал ходить на деревню, ездить в поле. Он сидел в библиотеке, перелистывал журналы, уже десятки лет желтевшие и сохнувшие в шкафах. В журналах было много прекрасных стихов старых поэтов, чудесных строк, говоривших почти всегда об одном, – о том, чем полны все стихи и песни с начала мира, чем жила теперь и его душа и что неизменно мог он так или иначе отнести к самому себе, к своей любви, к Кате. И он по целым часам сидел в кресле возле раскрытого шкафа и мучил себя, читая и перечитывая:

Люди спят, мой друг, пойдем в тенистый сад!  
Люди спят, одни лишь звезды к нам глядят...

Все эти чарующие слова, все эти призывы были как бы его собственными, обращены были теперь как будто только к одной, к той, кого неотступно видел во всем и всюду он, Митя, и звучали порою почти грозно:

Над зеркальными водами  
Машут лебеди крылами –  
И колышется река:  
О приди же! Звезды блещут,  
Листья медленно трепещут,  
И находят облака...

Он, закрывая глаза, холодея, по несколько раз кряду повторял этот призыв, зов сердца, переполненного любовной силой, жаждущей своего торжества, блаженного разрешения. Потом долго смотрел перед собою, слушал глубокое деревенское молчание, окружавшее дом, – и горько качал головой. Нет, она не отзывалась, она безмолвно сияла где-то там, в чужом и далеком московском мире! – И опять отливала от сердца нежность – опять росло, ширилось это грозное, зловещее, заклиняющее:

О, приди же! Звезды блещут,  
Листья медленно трепещут,  
И находят облака...

## XIV

Однажды, подремав после обеда, – обедали в полдень, – Митя вышел из дома и не спеша пошел в сад. В саду часто работали девки, окапывали яблони, работали они и нынче. Митя шел посидеть возле них, поболтать с ними, – это уже входило в привычку.

День был жаркий, тихий. Он шел в сквозной тени аллеи и далеко видел вокруг себя кудрявые белоснежные ветви. Особенно силен, густ был цвет на грушах, и смесь этой белизны и яркой синевы неба давала фиолетовый оттенок. И груши и яблони цвели и осыпались, разрытая



земля под ними была вся усеяна блеклыми лепестками. В теплом воздухе чувствовался их сладковатый, нежный запах вместе с запахом нагретого и преющего на скотном дворе навоза. Иногда находило облачко, синее небо голубело, и теплый воздух и эти тленные запахи делались еще нежнее и слаще. И все душистое тепло этого весеннего рая дремотно и блаженно гудело от пчел и шмелей, зарывавшихся в его медвяный кудрявый снег. И все время, блаженно скучая, по-дневному, то там, то здесь цокал то один, то другой соловей.

Аллея кончалась вдали воротами на гумно. Вдали налево, в углу садового вала, чернел ельник. Возле ельника пестрели среди яблонь две девки. Митя, как всегда, повернул со середины аллеи на них, – нагибаясь, пошел среди низких и раскидистых ветвей, женственно касавшихся его лица и пахнувших и медом, и как будто лимоном. И, как всегда, одна из девок, рыжая, худая Сонька, лишь только завидела его, дико захохотала и закричала.

– Ой, хозяин идет! – закричала она с притворным испугом и, соскочив с толстого сука груши, на котором она отдыхала, кинулась к лопате.

Другая девка, Глашка, сделала, напротив, вид, что совсем не замечает Митю, и, не спеша, крепко ставя на железную лопату ногу в мягкой чуне из черного войлока, за которую набились белые лепестки, энергично врезая лопату в землю и переворачивая отрезанный ломоть, громко запела сильным и приятным голосом: «Уж ты сад, ты мой сад, для кого ж ты цветешь!» Это была девка рослая, мужественная и всегда серьезная.

Митя подошел и сел на место Соньки, на старый грушевый сук, лежавший на рассохе. Сонька ярко глянула на него и громко, с деланой развязностью и веселостью спросила:

– Ай только встали? Смотрите, дела не проспите!

Митя нравился ей, и она всячески старалась скрыть это, но не умела, держала себя при нем неловко, говорила что попало, всегда, однако, намекая на что-то, смутно угадывая, что рассеянность, с которой Митя постоянно и приходил и уходил, не простая. Она подозревала, что Митя живет с Парашей или, по крайней мере, домогается этого, она ревновала и говорила с ним то нежно, то резко, глядела то томно, давая понять свои чувства, то холодно и враждебно. И все это доставляло Мите странное удовольствие. Письма не было и не было, он теперь не жил, а только изо дня на день существовал в непрестанном ожидании, все более томясь этим ожиданием и невозможностью ни с кем поделиться тайной своей любви и муки, поговорить о Кате, о своих надеждах на Крым, и потому намеки Соньки на какую-то его любовь были ему приятны: ведь все-таки эти разговоры как бы касались того сокровенного, чем томила его душа. Волновало его и то, что Сонька влюблена в него, а значит, отчасти близка ему, что делало ее как бы тайной соучастницей любовной жизни его души, даже давало порой странную надежду, что в Соньке можно найти не то наперсницу своих чувств, не то некоторую замену Кати.

Теперь Сонька, сама того не подозревая, опять коснулась его тайны: «Смотрите, дела не проспите!» Он посмотрел вокруг. Сплошная темно-зеленая чаща ельника, стоявшая перед ним, казалась от яркости дня почти черной, и небо сквозило в ее острых верхушках особенно великолепной синевой. Молодая зелень лип, кленов, вязов, насквозь светлая от солнца, всюду проникавшего ее, составляла по всему саду легкий радостный навес, сыпала пестроту тени и ярких пятен на траву, на дорожки, на поляны; жаркий и душистый цвет, белевший под этим навесом, казался фарфоровым, сиял, светился там, где солнце тоже проникало его. Митя, против воли улыбаясь, спросил Соньку:

– Какое же дело я могу проспять? То-то и горе, что у меня и дел-то никаких нету.

– Молчите уж, не божитесь, и так поверю! – крикнула Сонька в ответ весело и грубо, опять своим недоверием к отсутствию у Мити любовных дел, доставляя ему удовольствие, и вдруг опять заорала, отмахиваясь от рыжего, с белой курчавой шерсткой на лбу теленка, который медленно вышел из ельника, подошел к ней сзади и стал жевать оборку ее ситцевого платья:

– Ах, омок тебя возьми! Вот еще сыночка Бог послал!

– Правда, говорят, за тебя сватаются? – сказал Митя, не зная, что сказать, а желая продолжить разговор. – Говорят, двор богатый, малый красивый, а ты отказала, отца не слушаешься...

– Богат, да дурковат, в голове рано смеркается, – бойко ответила Сонька, несколько польщенная. – У меня, может, об другом об ком думки идут...

Серьезная и молчаливая Глашка, не прерывая работы, покачала головой:

– Уж и несешь ты, девка, и с Дону и с моря! – негромко сказала она. – Ты тут брешь что попало, а по селу слава пойдет...

– Молчи, не кудайтай! – крикнула Сонька. – Авось я не ворона, есть оборона!

– А о ком же это о другом у тебя думки идут? – спросил Митя.

– Так и призналась! – сказала Сонька. – Вон в вашего деда-пастуха влюбилась. Увижу, так до пят горячо! Я, не хуже вашего, все на старых лошадях езжу, – сказала она вызывающе, намекая, очевидно, на двадцатилетнюю Парашу, которая на деревне считалась уже старой девкой. И, внезапно бросив лопату, со смелостью, на которую она как будто имела некоторое право вследствие своей тайной влюбленности в барчука, села на землю, вытянула и слегка раздвинула ноги в старых грубых полсапожках и в шерстяных пегих чулках и беспомощно уронила руки.

– Ох, ничего не делала, а утомилась! – крикнула она, смеясь. – Сапоги мои худые, – пронзительно запела она, –

Сапоги мои худые,  
Носки лаковые, –

и опять закричала, смеясь:

– Пойдемте со мной в салаш отдыхать, я на все согласная!

Смех этот заразил Митю. Широко и неловко улыбаясь, он соскочил с сука и, подойдя к Соньке, лег и положил ей голову на колени. Сонька скинула ее – он опять положил, опять думая стихами, которых он начитался за последние дни:

Вижу, роза, – счастья сила  
Яркий свиток свой раскрыла  
И увлажила росой –  
Необъятный, непонятный,  
Благовонный, благодатный  
Мир любви передо мной...

– Не трожьте меня! – закричала Сонька уже с искренним испугом, стараясь поднять и отбросить его голову. – А то так закричу, все волки в лесу завоют! У меня ничего для вас нету, горело, да потухло!

Митя закрыл глаза и молчал. Солнце, дробясь через листву, ветви и грушевый цвет, горячими пятнами пестрило, щекало его лицо. Сонька нежно и зло рванула его черные жесткие волосы, – «чисто у лошади!» – крикнула она и прикрыла ему картузом глаза. Под затылком он чувствовал ее ноги, – самое страшное в мире, женские ноги! – касался им ее живота, слышал запах ситцевой юбки и кофточки, и все это мешалось с цветущим садом и с Катей; томное цоканье соловьев вдали и вблизи, немолчное сладострастно-дремотное жужжание несметных пчел, медвяный теплый воздух и даже простое ощущение земли под спиною мучило, томило жаждой какого-то сверхчеловеческого счастья. И вдруг в ельнике что-то зашуршало, весело и злорадно захохотало, потом гулко раздалось: «ку-ку! ку-ку!» – и так жутко, так выпукло, так близко и так явственно, что слышен был хрип и дрожание острого язычка, а желание Кати и

желание, требование, чтобы она во что бы то ни стало немедленно дала именно это сверхчеловеческое счастье, охватило так неистово, что Митя, к крайнему удивлению Соньки, порывисто вскочил и большими шагами зашагал прочь.

Вместе с этим неистовым желанием, требованием счастья, под этот гулкий голос, внезапно раздавшийся с такой страшной явственностью над самой его головой в ельнике и как будто до дна разверзший лоно всего этого весеннего мира, он вдруг вообразил, что письма не будет и не может быть, что в Москве что-то случилось или вот-вот случится и что он погиб, пропал!

## XV

В доме он на минуту остановился перед зеркалом в зале. «Она права, – подумал он, – глаза у меня если и не византийские, то, во всяком случае, сумасшедшие. А эта худоба, грубая и костлявая нескладность, мрачная угольность бровей, жесткая чернота волос, действительно почти лошадиных, как сказала Сонька?»

Но сзади его послышался быстрый топот босых ног. Он смутился, обернулся.

– Верно, влюбились, все в зеркало смотрите, – с ласковой шутливостью сказала Параша, пробегая мимо с кипящим самоваром в руках на балкон.

– Вас мама искали, – прибавила она, с размаху ставя самовар на убранный к чаю стол и, обернувшись, быстро и зорко взглянула на Митю.

«Все знают, все догадываются!» – подумал Митя и через силу спросил:

– А где она?

– У себя в комнате.

Солнце, обойдя дом и уже переходя на западное небо, зеркально заглядывало под сосны и пихты, своими хвойными ветвями осенявшие балкон. Кусты бересклета под ними блестели тоже совсем по-летнему, стеклянно. Стол, покрытый легкой тенью и кое-где жаркими пятнами света, сиял скатертью. Осы вились над корзиночкой с белым хлебом, над граненой вазой с вареньем, над чашками. И вся эта картина говорила о прекрасном деревенском лете и о том, как можно было бы быть счастливым, беззаботным. Чтобы предупредить выход мамы, которая, конечно, не менее других понимает его положение, и чтобы показать, что у него вовсе нет никаких тяжких тайн на душе, Митя пошел из зала в коридор, в который выходили двери его комнаты, маминой и двух других, где летом жили Аня и Костя. В коридоре было сумрачно, в комнате Ольги Петровны синевато. Вся комната была тесно и уютно загромождена наиболее старинной мебелью, имевшейся в доме: шифоньерками, комодами, большой постелью и божницей, перед которой, как обыкновенно, горела лампада, хотя Ольга Петровна никогда не проявляла особой религиозности. За открытыми окнами, на запущенном цветнике перед входом в главную аллею, лежала широкая тень, за тенью празднично зеленел и белел в упор освещенный сад. Не глядя на весь этот давно привычный вид, опустив глаза в очках на вязанье, Ольга Петровна, крупная и сухощавая, черная и серьезная сорокалетняя женщина, сидела у окна в кресле и быстро ковыряла крючком.

– Ты спрашивала меня, мама? – сказал Митя, входя и останавливаясь у порога.

– Да нет, я просто хотела тебя видеть. Я ведь теперь почти никогда, кроме обеда, не вижу тебя, – ответила Ольга Петровна, не прерывая работы и как-то особенно, не в меру спокойно.

Митя вспомнил, как девятого марта Катя сказала, что она почему-то боится его матери, вспомнил тайное очаровательное значение, которое, несомненно, было в ее словах... Он неловко пробормотал:

– Но ты, может, хотела что-нибудь сказать мне?

– Ничего, кроме того, что мне кажется, что ты что-то заскучал последние дни, – сказала Ольга Петровна. – Может, проехался бы куда-нибудь... к Мещерским, например... Полон дом невест, – прибавила она, улыбаясь, – и вообще, по-моему, очень милая и радушная семья.

– Как-нибудь на днях с удовольствием съезжу, – с трудом ответил Митя. – Но пойдем чай пить, там так хорошо на балконе... Там и поговорим, – сказал он, отлично зная, что мама, по своему пронизательному уму и по своей сдержанности, не будет больше возвращаться к этому бесполезному разговору.

На балконе они просидели почти до заката. Мама после чая продолжала вязать и говорить о соседях, о хозяйстве, об Ане и Косте, – у Ани опять передержка в августе! Митя слушал, порою отвечал, но все время испытывал нечто подобное тому, что он испытывал перед отъездом из Москвы, – что опять он как будто пьян от какой-то тяжелой болезни.

А вечером он часа два безостановочно шагал по дому взад и вперед, насквозь проходя зал, гостиную, диванную и библиотеку, вплоть до ее южного окна, открытого в сад. В окна зала и гостиной мягко краснел меж ветвями сосен и пихт закат, слышались голоса и смех работников, собиравшихся к ужину возле людской. В пролет комнат, в окно библиотеки, глядела ровная и бесцветная синева вечернего неба с неподвижной звездой над ней; на этой синеве картинно рисовалась зеленая вершина клена и белизна, как бы зимняя, всего того, что цвело в саду. А он шагал и шагал, уже совсем не заботясь о том, как будет это истолковано в доме. Зубы его были стиснуты до боли в голове.

## XVI

С этого дня он перестал следить за всеми теми переменами, что совершало вокруг него наступающее лето. Он видел и даже чувствовал их, эти перемены, но они потеряли для него свою самостоятельную ценность, он наслаждался ими только мучительно: чем было лучше, тем мучительнее было ему. Катя стала уже истинным наваждением; Катя была теперь во всем и за всем уже до нелепости, а так как всякий новый день все страшнее подтверждал, что она для него, для Мити, уже не существует, что она уже в чьей-то чужой власти, отдает кому-то другому себя и свою любовь, всецело долженствующую принадлежать ему, Мите, то и все в мире стало казаться ненужным, мучительным и тем более ненужным и мучительным, чем более оно было прекрасно.

По ночам он почти не спал. Прелесть этих лунных ночей была несравненна. Тихо-тихо стоял ночной млечный сад. Осторожно, изнемогая от неги, пели ночные соловьи, состязаясь друг с другом в сладости и тонкости песен, в их чистоте, тщательности, звучности. И тихая, нежная, совсем бледная луна низко стояла над садом, и неизменно сопровождала ее мелкая, несказанно прелестная зыбь голубоватых облаков. Митя спал с незанавешенными окнами, и сад и луна всю ночь смотрели в них. И всякий раз как он открывал глаза и взглядывал на луну, он тотчас же мысленно произносил, как одержимый: «Катя» – и с таким восторгом, с такой болью, что ему самому становилось дико: чем, в самом деле, могла напомнить ему Катю луна, а ведь напомнила же, напомнила чем-то и, что всего удивительнее, даже чем-то зрительным! А порою он просто ничего не видел: желание Кати, воспоминания о том, что было между ними в Москве, охватывали его с такой силой, что он весь дрожал лихорадочной дрожью и молил Бога – и, увы, всегда напрасно! – увидеть ее вместе с собой, вот на этой постели, хоть во сне. Однажды зимой он был с ней в Большом театре на «Фаусте» с Собиновым и Шаляпиным. Почему-то в этот вечер все казалось ему особенно восхитительным: и светлая, уже знойная и душистая от многолюдства бездна, зиявшая под ними, и красно-бархатные, с золотом, этажи лож, переполненные блестящими нарядами, и жемчужное сияние над этой бездной гигантской люстры, и льющиеся далеко внизу под маханье капельмейстера звуки увертюры, то гремящие, дьявольские, то бесконечно нежные и грустные: «Жил-был в Фуле добрый король...» Проводив

после этого спектакля, по крепкому морозу лунной ночи, Катю на Кисловку, Митя особенно поздно засиделся у нее, особенно изнемог от поцелуев и унес с собой шелковую ленту, которой Катя завязывала себе на ночь косу. Теперь, в эти мучительные майские ночи, он дошел до того, что не мог думать без содрогания даже об этой ленте, лежавшей в его письменном столе.

А днем он спал, потом уезжал верхом в то село, где была железнодорожная станция и почта. Дни продолжали стоять погожие. Перепадали дожди, пробегали грозы и ливни, и опять сияло жаркое солнце, непрестанно творившее свою спешную работу в садах, полях и лесах. Сад отцветал, осыпался, но зато продолжал буйно густеть и темнеть. Леса тонули уже в несметных цветах, в высоких травах, и звучная глубина их немолчно звала в свои зеленые недра соловьями и кукушками. Уже исчезла нагота полей – их сплошь покрыли разнообразно богатые всходы хлебов. И Митя по целым дням пропадал в этих лесах и полях.

Слишком стыдно стало ему торчать каждое утро на балконе или среди двора в бесплодном ожидании приезда с почты старосты или работника. Да и не всегда было время у старосты и у работников ездить за восемь верст за пустяками. И вот он стал ездить на почту сам. Но и сам он неизменно возвращался домой с одним номером орловской газеты или письмом Ани, Кости. И муки его стали достигать уже крайнего предела. Поля и леса, по которым ехал он, так подавляли его своей красотой, своим счастьем, что он стал чувствовать где-то в груди боль даже телесную.

Раз, перед вечером, он ехал с почты через пустую соседскую усадьбу, стоявшую в старом парке, который сливался с окружавшим его березовым лесом. Он ехал по табельному проспекту, как называли мужики главную аллею этой усадьбы. Ее составляли два ряда огромных черных елей. Великолепно-мрачная, широкая, вся покрытая толстым слоем рыжей скользкой хвои, она вела к старинному дому, стоявшему в самом конце ее коридора. Красный, сухой и спокойный свет солнца, опускавшегося слева за парком и лесом, наискось озарял между стволами низ этого коридора, блестел по его хвойной золотистой настилке. И такая зачарованная тишина царила кругом, – только одни соловьи гремели из конца в конец парка, – так сладко пахло и елями и жасмином, кусты которого отовсюду обступали дом, и такое великое – чье-то чужое, давнее – счастье почувствовалось Мите во всем этом и так страшно явственно вдруг представилась ему на огромном ветхом балконе, среди кустов жасмина, Катя в образе его молодой жены, что он сам ощутил, как смертельная бледность стягивает его лицо, и твердо сказал вслух, на всю аллею:

– Если через неделю письма не будет, – застрелюсь!

## XVII

На другой день он встал очень поздно. После обеда он сидел на балконе, держал на коленях книгу, глядел на страницы, покрытые печатью, и тупо думал: «Ехать или нет на почту?»

Было жарко, белые бабочки парами вились друг за другом над горячей травой, над стекляннно блестящим бересклетом. Он следил за бабочками и опять спрашивал себя: «Ехать или разом оборвать эти постыдные поездки?»

Из-под горы, в воротах, показался верхом на жеребце староста. Староста посмотрел на балкон и поехал прямо на него. Подъехав, он остановил лошадь и сказал:

– Доброго утра! Все читаете?

И усмехнулся, оглянувшись кругом.

– Мамаша спят? – спросил он негромко.

– Думаю, что спит, – ответил Митя. – А что?

Староста помолчал и вдруг серьезно сказал:

– Что ж, барчук, книжка хороша, да на все время надо знать. Что ж вы монахом-то живете? Ай мало баб, девок?

Митя не отозвался и опустил глаза в книгу.

– Ты где был? – спросил он, не глядя.

– Был на почте, – сказал староста. – И, конечно, писем никаких там нету, кроме одной газетки.

– Почему же «конечно»?

– Потому что, значит, еще пишут, не дописали, – ответил староста грубо и насмешливо, обиженный тем, что Митя не поддержал его разговора. – Пожалуйста получить, – сказал он, протягивая Мите газетку, и, тронув лошадь, поехал прочь.

«Застрелюсь!» – подумал Митя твердо, глядя в книгу и ничего не видя.

## XVIII

Митя и сам не мог не понимать, что нельзя и вообразить себе ничего более дикого, как это: застрелиться, раздробить себе череп, сразу оборвать биение крепкого молодого сердца, оборвать мысль и чувство, оглохнуть, ослепнуть, исчезнуть из того несказанно прекрасного мира, который только теперь впервые весь открылся перед ним, мгновенно и навеки лишиться всякого участия в той самой жизни, где Катя и наступающее лето, где небо, облака, солнце, теплый ветер, хлеба в полях, села, деревни, девки, мама, усадьба, Аня, Костя, стихи в старых журналах, а где-то там – Севастополь, Байдарские ворота, сиреневые знойные горы в сосновых и буковых лесах, ослепительно белое, душное шоссе, сады Ливадии и Алупки, раскаленный песок у сияющего моря, загорелые дети, загорелые купальщицы – и опять Катя, в белом платье, под белым зонтиком, сидящая на гальке у самых волн, слепящих своим блеском, вызывающих невольную улыбку беспричинного счастья...

Он это понимал, но что же было делать? Как и куда вырваться из того заколдованного круга, где было тем мучительнее, тем нестерпимее, чем было лучше? Именно это-то и было непосильно – то самое счастье, которым подавлял его мир и которому недоставало чего-то самого нужного.

Вот он просыпался утром, и первое, что ударило ему в глаза, было радостное солнце, первое, что он слышал, был радостный, знакомый с детства трезвон деревенской церкви – там, за росистым, полным тени и блеска, птиц и цветов садом; радостны, милы были даже желтенькие обои на стенах, все те же, что желтели и в его детстве. Но тотчас же, восторгом и ужасом, всю душу пронзала мысль: Катя! Утреннее солнце блистало ее молодостью, свежесть сада была ее свежестью, все то веселое, игривое, что было в трезвоне колоколов, тоже играло красотой, изяществом ее образа, дедовские обои требовали, чтобы она поделила с Митей всю ту родную деревенскую старину, ту жизнь, в которой жили и умирали здесь, в этой усадьбе, в этом доме, его отцы и деды. И Митя отбрасывал прочь одеяло, вскакивал с постели в одной рубашке, с раскрытым воротом, длинноногий, худой, но все же крепкий, молодой, теплый со сна, быстро выдвигал ящик письменного стола, хватал заветную фотографическую карточку и впадал в столбняк, жадно и вопросительно глядя на нее. Вся прелесть, вся грация, все то неизъяснимое, сияющее и зовущее, что есть в девичьем, в женском, все было в этой немного змеиной головке, в ее прическе, в ее чуть вызывающем и вместе с тем невинном взоре! Но загадочно и с несокрушимым веселым безмолвием сиял этот взор – и где было взять сил перенести его, такой близкий и такой далекий, а теперь, может быть, даже и навеки чужой, открывший такое несказанное счастье жить и так бесстыдно и страшно обманувший?

В тот вечер, когда он ехал с почты через Шаховское, через эту старинную пустую усадьбу с черной еловой аллеей, он очень точно выразил своим неожиданным даже для самого себя восклицанием то крайнее изнеможение, которого он достиг. Стоя под окном почты, глядя с седла, как почтарь напрасно роется в куче газет и писем, он услышал сзади себя шум подходящего к станции поезда, и этот шум и запах паровозного дыма потряс его счастьем воспоми-

нения о Курском вокзале и вообще о Москве. Едучи по селу с почты, в каждой идущей впереди девке небольшого роста, в движении ее бедер он с испугом ловил что-то Катино. В поле он встретил чью-то тройку, – в тарантасе, который шибко несла она, мелькнули две шляпки, одна девичья, и он чуть не вскрикнул: «Катя!» Белые цветы на меже мгновенно связывались с мыслью о ее белых перчатках, синие медвежьи ушки – с цветом ее вуали... А когда он, при заходящем солнце, въезжал в Шаховское, сухой и сладкий запах елей и роскошный запах жасмина дали ему такое острое чувство лета и чьей-то старинной летней жизни в этой богатой и прекрасной усадьбе, что, взглянув на красно-золотой вечерний свет в аллее, на дом, стоявший в ее глубине, в вечеряющей тени, он вдруг увидел Катю, сходящую, во всем расцвете женской прелести, с балкона в сад, почти совершенно так же явственно, как видел дом и жасмин. Уже давно потерял он жизненное представление о ней, и уже являлась она ему с каждым днем все необычнее, все преображеннее, – в этот же вечер ее преображение достигло такой силы, такой торжествующей победности, что Митя ужаснулся еще более, чем в тот полдень, когда внезапно закуковала над ним кукушка.

## XIX

И он перестал ездить на почту, заставил себя оборвать эти поездки отчаянным, крайним усилием воли. Перестал и сам писать. Ведь все уже было испробовано, все написано: и неистовые уверения в своей любви, такой, какой еще не бывало на земле, и унижительные мольбы о ее любви или хотя бы о «дружбе», и бессовестные выдумки, что он болен, что он пишет, лежа в постели, – с целью вызвать к себе хоть жалость, хоть какое-нибудь внимание, – и даже угрожающие намеки на то, что ему останется, кажется, одно: избавить Катю и своих «более счастливых соперников» от своего присутствия на земле. И, перестав писать и домогаться ответа, всеми силами заставляя себя не ждать ничего (а все-таки втайне надеясь, что письмо придет именно тогда, когда или обманешь судьбу, очень хорошо прикинувшись равнодушным, или когда в самом деле добьешься равнодушия), всячески стараясь не думать о Кате, всячески ища спасения от нее, он опять стал читать что под руку попадется, ездить со старостой по хозяйственным делам в соседние села и внутренне без усталости твердить себе: «Все равно, пусть будет что будет!»

И вот однажды возвращались они со старостой с хутора, ехали на бегунках и, как всегда, шибко. Оба сидели верхом, староста впереди, – он правил, – а Митя сзади, и оба подскакивали от толчков, особенно Митя, который крепко держался за подушку и глядел то в красный затылок старосты, то на прыгающие перед глазами поля. Подъезжая к дому, староста опустил вожжи, поехал шагом, стал вертеть сигарку и, ухмыляясь в развернутый кисет, сказал:

– Вот вы тогда, барчук, обиделись на меня, а понапрасну. Разве я не правду вам говорил? Книжка хороша, отчего и не почитать на гулянках, да ведь она не уйдет, на все время надо знать.

Митя вспыхнул и неожиданно для самого себя ответил с притворной простотой и неловкой усмешкой:

– Да никого что-то нету на примете...

– Как так? – сказал староста. – Сколько баб, девок!

– Девки только манят, – ответил Митя, стараясь говорить в тон старосте. – На девок надежда плохая.

– Не манят, а обращенья вы не знаете, – сказал староста уже наставительно. – И опять же скупитесь. А сухая ложка рот дерет.

– Ничего бы я не стал скупиться, будь дело путное и верное, – ответил вдруг Митя бесстыдно.

– А не станете, все и будет в лучшем виде, – сказал староста, закуривая, и продолжал как бы несколько обиженно: – Мне не целковый, не подарок ваш дорог, а мне хочется удовольствие вам сделать. Гляну, гляну: скучает барчук! Нет, думаю, этого дела нельзя так оставить. Я своих господ завсегда беру в расчет. Я вот у вас второй год живу, а ни от вас, ни от барыни, слава богу, плохого слова не слышал. Другим, к примеру, что барская скотина? Сыта – хорошо, нет – черт с ней. А у меня того нет. Мне скотина дороже всего. Я и ребятам говорю: мне как хотите, а чтобы у меня скотина сыта была!

Митя уже стал думать, что староста выпивши, но староста вдруг сбросил обиженно-задушевный тон и сказал, вопросительно взглянув на Митю через плечо:

– Да вот чего лучше Аленка? Бабенка ядовитая, молоденькая, муж на шахтах... Только и ей, конечно, надо какой-нибудь пустяк сунуть. Ну, истратите, скажем, на все про все пятерку. Целковый, скажем, ей на угощение, два – на руки. Ну, мне на табачишко сколько-нибудь...

– За этим дело не станет, – ответил Митя, опять против воли. – Только про какую Аленку ты говоришь?

– Понятно, про лесникову, – сказал староста. – Да ай вы ее не знаете? Невестка нового лесника. Вы ее, думается, в прошлое воскресенье в церкви видели... Я тогда прямо же подумал: вот бы нашему барчуку в самый раз! Всего второй год замужем, ходит чисто...

– Ну и что же, – ответил Митя, усмехаясь, – ну вот и устрой.

– Тогда я, значит, буду стараться, – сказал староста, берясь за вожжи. – Я, значит, на днях попытаю ее. А вы и сами пока не дремите. Завтра она у нас с девками вал в саду опрavlять будет, вот вы и приходите в сад... А книжка эта никогда не уйдет, авось еще в Москве начитаетесь...

И тронул лошадь, и дрожки опять затряслись и запрыгали. Митя крепко держался за подушку и, стараясь не глядеть на красную толстую шею старосты, смотрел вдаль, через деревья своего сада и лозины деревни, лежавшей на скате к реке, к речным лугам. Что-то дико неожиданное, нелепое и вместе с тем такое, отчего по всему телу проходило знобящее томление, было уже наполовину сделано. И уже как-то по-иному, чем прежде, торчала перед ним из-за вершин сада и блестела крестом в предвечернем солнце с детства знакомая колокольня.

## XX

Девки за удобу звали Митю борзым, он был из той породы людей с черными, как бы постоянно расширенными глазами, у которых почти не растут даже в зрелые годы ни усы, ни борода, – курчавится только нечто редкое и жесткое. Однако на другой день после разговора со старостой он с утра побрился и надел желтую шелковую рубашку, странно и красиво осветившую его изможденное и как бы вдохновенное лицо.

В одиннадцатом часу он медленно, стараясь придать себе немного скучающий, от нечего делать гуляющий вид, пошел в сад.

Вышел он с главного крыльца, обращенного на север. На севере, над крышами каретного сарая и скотного двора и над той частью сада, из-за которой всегда глядела колокольня, стояла аспидная муть. Да и все было тускло, в воздухе парило и пахло из трубы людской. Митя повернул за дом и направился к липовой аллее, глядя на вершины сада и на небо. Из-под неопределенных туч, заходящих за садом, с юго-востока, дуло слабым горячим ветром. Птицы не пели, даже соловьи молчали. Одни пчелы во множестве беззвучно неслись через сад со взятки.

Девки, поправляя вал, работали опять возле ельника, заделывали в валу протоптанные скотиной лазы, заваливали их землей и парным, приятно-вонючим навозом, который работники от времени до времени подвозили со скотного двора через аллею, – аллея вся была усеяна влажными и блестящими шмотами. Девоч было штук шесть. Соньки уже не было, – ее таки просватали, и теперь она сидела дома, кое-что готовя к свадьбе. Было несколько совсем еще



жиденьких девчонок, была толстая, миловидная Анютка, была Глашка, ставшая как будто еще суровее и мужественнее, – и Аленка. И Митя сразу увидел ее среди деревьев, сразу понял, что это она, хотя прежде никогда не видал ее, и его, как молния, поразило неожиданно и резко ударившее ему в глаза что-то общее, что было, – или только почудилось ему, – в Аленке с Катей. Это было так удивительно, что он даже приостановился, на миг оторопел. Потом решительно пошел прямо на нее, не спуская с нее глаз.

Она была тоже невелика, подвижна. Несмотря на то что она пришла на грязную работу, она была в хорошенькой (белой с красными крапинками) ситцевой кофте, подпоясанной черным лакированным поясом, в такой же юбке, в розовом шелковом платочке, в красных шерстяных чулках и в черных мягких чунях, в которых (или, вернее, во всей ее маленькой легкой ноге) было опять-таки что-то Катино, то есть женское, смешанное с чем-то детским. И головка у нее была невелика и темные глаза стояли и сияли почти так же, как у Кати. Когда Митя подходил, она одна не работала, как бы чувствуя свою некую особенность среди прочих, стояла на валу, поставив правую ногу на вилы и разговаривая со старостой. Староста, облокотясь, лежал под яблоней на своем пиджаке с рваной подкладкой и курил. Митя подошел – он вежливо подвинулся на траву, давая ему место на пиджаке.

– Садитесь, Митрий Палыч, закурите, – сказал он дружески и небрежно.

Митя бегло, исподтишка глянул на Аленку, – очень хорошо освещал ее лицо ее розовый платочек, – сел и, опустив глаза, стал закуривать (он много раз за зиму и весну бросал курить, теперь опять закурив). Аленка даже не поклонилась ему, как будто и не заметила его. Староста продолжал говорить ей что-то, чего Митя не понимал, не зная начала разговора. Она смеялась, но как-то так, точно ни ум, ни сердце ее не участвовали в этом смехе. В каждую свою фразу староста пренебрежительно и насмешливо вставлял похабные намеки. Она отвечала ему легко и тоже насмешливо, давая понять, что он в каких-то своих намерениях на кого-то вел себя глупо, чересчур нахрапом, а вместе с тем и трусливо, боясь жены.

– Ну, да тебя не перебрешешь, – сказал наконец староста, прекращая спор, будто бы ввиду его надоевшей бесполезности. – Ты лучше иди посиди с нами. Барин тебе хочет слово сказать.

Аленка повела глазом куда-то в сторону, подоткнула на височках темные колечки волос и не двинулась с места.

– Иди, говорю, дура! – сказал староста.

И, подумав мгновение, Аленка вдруг легко соскочила с вала, подбежала и на корточках присела в двух шагах от лежавшего на пиджаке Мити, весело и любопытно смотря в лицо ему темными расширенными глазами. Потом засмеялась и спросила:

– А правда, вы, барчук, с бабами не живете? Как дьячок какой?

– А ты почему знаешь, что не живут? – спросил староста.

– Да уж знаю, – сказала Аленка. – Слышала. Нет, они не могут. У них в Москве есть, – вдруг заиграв глазами, сказала она.

– Подходящих для них нету, вот и не живут, – ответил староста. – Много ты понимаешь в их деле!

– Как нету? – сказала Аленка, смеясь. – Сколько баб, девок! Вон Анютка, – чего лучше? Анютка, поди сюда, дело есть! – крикнула она звонко.

Анютка, широкая и мягкая в спине, короткорукая, обернулась, – лицо у нее было миловидное, улыбка добрая и приятная, – что-то крикнула в ответ певучим голосом и заработала еще пуще.

– Говорят тебе, поди! – еще звончей повторила Аленка.

– Нечего мне ходить, не научена я этим делам, – пропела Анютка радостно.

– Нам Анютка не нужна, нам надо почище, поблагороднее, – наставительно сказал староста. – Мы сами знаем, кого нам надо.

И очень выразительно посмотрел на Аленку. Она слегка смутилась, чуть-чуть покраснела.

– Нет, нет, нет, – ответила она, скрывая смущение улыбкой, – лучше Анютки не найдете. А не хотите Анютку, – Настьку, она тоже чисто ходит, в городе жила...

– Ну, будет, молчи, – неожиданно грубо сказал староста. – Занимайся своим делом, побрехала, и будет. Меня и так барыня ругают, говорят, они у тебя только охальничают...

Аленка вскочила – и опять с необыкновенной легкостью – взялась за вилы. Но работник, сваливший в это время последнюю телегу навоза, крикнул: «Завтракать!» – и, задержав вожжами, бойко загремел вниз по аллее пустым тележным ящиком.

– Завтракать, завтракать! – на разные голоса закричали и девки, бросая лопаты и вилы, перескакивая через вал, соскакивая с него, мелькая голыми ногами и разноцветными чулками и сбегаясь под ельник к своим узелкам.

Староста покосился на Митю, подмигнул ему, желая сказать, что дело идет, и, приподнимаясь, начальственно согласился:

– Ну, завтракать так завтракать...

Девки, пестрея под темной стеной елок, весело и как попало расселись на траве, стали развязывать узелки, вынимать лепешки и раскладывать их на подолы между прямо лежащих ног, стали жевать, запивая из бутылок кто молоком, кто квасом и продолжая громко и беспорядочно говорить, хохоча каждому слову и поминутно взглядывая на Митю любопытными и вызывающими глазами. Аленка, наклонясь к Анютке, что-то сказала ей на ухо. Анютка, не сдержав очаровательной улыбки, с силой оттолкнула ее (Аленка, давясь смехом, повалилась головой к себе на колени) и с притворным возмущением крикнула на весь ельник своим певучим голосом:

– Дура! Чего гогочешь без дела? Какая радость?

– Пойдем от греха, Митрий Палыч, – сказал староста, – ишь их черти разбирают!

## XXI

На другой день в саду не работали, был праздник, воскресенье.

Ночью лил дождь, мокро шумело по крыше, сад то и дело бледно, но широко, сказочно озарялся. К утру, однако, погода опять разгулялась, опять все стало просто и благополучно, и Митю разбудил веселый, солнечный трезвон колоколов.

Он не спеша умылся, оделся, выпил стакан чаю и пошел к обедне. «Мама уж ушли, – ласково упрекнула его Параша, – а вы как татарин какой...»

В церковь можно было пройти или по выгону, выйдя из ворот усадьбы и свернув направо, или через сад, по главной аллее, а потом по дороге между садом и гумном, налево. Митя пошел через сад.

Все было уже совсем по-летнему. Митя шел по аллее прямо на солнце, сухо блестящее на гумне и в поле. И этот блеск и трезвон колоколов, как-то очень хорошо и мирно сливавшийся с ним и со всем этим деревенским утром, и то, что Митя только что вымылся, причесал свои мокрые, глянцевиные черные волосы и надел студенческий картуз, все вдруг показалось так хорошо, что Митю, опять не спавшего всю ночь и опять прошедшего ночью через множество самых разнородных мыслей и чувств, вдруг охватила надежда на какое-то счастливое разрешение всех его терзаний, на спасение, освобождение от них. Колокола играли и звали, гумно впереди жарко блестело, дятел, приостанавливаясь, приподнимая хохолок, быстро бежал вверх по корявому стволу липы в ее светло-зеленую, солнечную вершину, бархатные черно-красные шмели заботливо зарывались в цветы на полянах, на припеке, птицы заливались по всему саду сладко и беззаботно... Все было, как бывало много, много раз в детстве, в отрочестве, и так

живо вспомнилось все прелестное, беззаботное прежнее время, что вдруг явилась уверенность, что Бог милостив, что, может быть, можно прожить на свете и без Кати.

«В самом деле, поеду к Мещерским», – подумал вдруг Митя.

Но тут он поднял глаза – и в двадцати шагах от себя увидел как раз в этот момент проходившую мимо ворот Аленку. Она опять была в шелковом розовом платочке, в голубом нарядном платье с оборками, в новых башмаках с подковками. Она, виляя задом, быстро шла, не видя его, и он порывисто подался в сторону, за деревья.

Дав ей скрыться, он, с бьющимся сердцем, поспешно пошел назад, к дому. Он вдруг понял, что пошел в церковь с тайной целью увидеть ее, и то, что видеть ее в церкви нельзя, не надо.

## XXII

Во время обеда нарочный со станции привез телеграмму – Аня и Костя извещали, что будут завтра вечером. Митя отнесся к этому совершенно равнодушно.

После обеда он навзничь лежал на плетеном диване на балконе, закрыв глаза, чувствуя доходящее до балкона жаркое солнце, слушая летнее жужжанье мух. Сердце дрожало, в голове стоял неразрешимый вопрос: а как же дальше дело с Аленкой? Когда же оно решится окончательно? Почему староста не спросил ее вчера прямо: согласна ли она и, если да, то где и когда? А рядом с этим мучило другое: следует или нет нарушить свое твердое решение не ездить больше на почту? Не съездить ли нынче еще раз, последний? Новое и бессмысленное издевательство над своим собственным самолюбием? Новое и бессмысленное терзание себя жалкой надеждой? Но что может теперь прибавить эта поездка (в сущности, простая прогулка) к его терзаниям? Разве теперь не совершенно очевидно, что там, в Москве, для него все и навеки кончено? Что ему вообще теперь делать?

– Барчук! – раздался вдруг негромкий голос возле балкона. – Барчук, вы спите?

Он быстро открыл глаза. Перед ним стоял староста в новой ситцевой рубашке, в новом картузе. Лицо у него было праздничное, сытое и слегка сонное, хмельное.

– Барчук, едемте скорей в лес, – зашептал он. – Я барыне сказал, что мне нужно повидаться с Трифоном насчет пчел. Едемте скорей, пока они почивают, а то ну-ка проснутся и отдумают... Захватим чего-нибудь угостить Трифона, он захмелеет, вы его заговорите, а я исхитрюсь шепнуть словечко Аленке. Выходите скорей, я уж запрег...

Митя вскочил, пробежал лакейскую, схватил картуз и быстро пошел к каретному сараю, где стоял запряженный в беговые дрожки молодой горячий жеребчик.

## XXIII

Жеребчик прямо с места вихрем вынес за ворота. Против церкви на минуту остановились возле лавки, взяли фунт сала и бутылку водки и понеслись дальше.

Мелькнула изба на выезде, у которой стояла наряженная и не знавшая, что делать, Анютка. Староста в шутку, но грубо крикнул ей что-то и с хмельным, бессмысленным и злым удалством крепко передернул вожжами, хлестнул ими по крупу жеребчика. Жеребчик еще надал.

Митя, сидя и подскакивая, держался изо всех сил. В затылок ему приятно пекло, в лицо тепло дуло полевым жаром, пахнувшим уже зацветающей рожью, дорожной пылью, колесной мазью. Рожь ходила, отливала серебристо-серой, точно какой-то чудесный мех, зыбью, над ней поминутно взвивались, пели, косо неслись и падали жаворонки, далеко впереди мягко синел лес...

Через четверть часа были уже в лесу и все так же шибко, стучаясь о пни и корни, помчались по его тенистой дороге, радостной от солнечных пятен и несметных цветов в густой и высокой траве по сторонам. Аленка, в своем голубом платье, прямо и ровно положив ноги в полусапожках, сидела в распускающихся возле караулки дубках и вышивала что-то. Староста пролетел мимо нее, погрозив ей кнутом, и сразу осадил у порога. Митю поразили горький и свежий аромат леса, молодой дубовой листвы, оглушил звонкий лай собачонок, окруживших дрожки и наполнивших весь лес откликами. Они стояли и яростно заливались на все лады, а мохнатые морды их были добры и хвосты виляли.

Слезли, привязали жеребчика к сухому, опаленному грозой деревцу под окнами и вошли через темные сени.

В караулке было очень чисто, очень уютно и очень тесно, жарко и от солнца, светившего из-за леса в оба ее окошечка, и оттого, что была натоплена печь, – утром пекли ситники. Федосья, свекровь Аленки, чистенькая и благообразная на вид старушка, сидела за столом, спиной к солнечному, усыпанному мелкими мушками окошечку. Увидав барчука, она встала и низко поклонилась. Поздоровавшись, сели и стали закуривать.

– А где ж Трифон? – спросил староста.

– Отдыхает в клети, – сказала Федосья, – я сейчас пойду его покличу.

– Идет дело! – шепнул староста, моргнув обоими глазами, как только она вышла.

Но никакого дела Митя покуда не видел. Покуда было только нестерпимо неловко, – казалось, что Федосья уже отлично понимает, зачем они приехали. Опять мелькала ужасавшая уже третий день мысль: «Что я делаю? Я с ума схожу!» Он чувствовал себя лунатиком, покоренным чьей-то посторонней волей, все быстрее и быстрее идущим к какой-то роковой, но неотразимо влекущей пропасти. Но, стараясь иметь простой и спокойный вид, он сидел, курил, осматривал караулку. Особенно стыдно было при мысли, что сейчас войдет Трифон, мужик, как говорят, злой, умный, который сразу все поймет еще лучше Федосьи. Но вместе с тем была и другая мысль: «А где же она спит? Вот на этих нарах или в клети?» Конечно, в клети, подумал он. Летняя ночь в лесу, окошечки в клети без рамы, без стекол, и всю ночь слышен дремотный лесной шепот, а она спит...

## XXIV

Трифон, войдя, тоже низко поклонился Мите, но молча, не взглянув ему в глаза. Потом сел на скамейку перед столом и сухо и неприязненно заговорил со старостой: в чем дело, зачем пожаловал? Староста поспешил сказать, что его прислала барыня, что она просит Трифона прийти посмотреть пасеку, что ихний пасечник старый, глухой дурак, а что он, Трифон, может, первый пчеловод во всей губернии по своему уму и понятию, – и немедля вытащил из одного кармана штанов бутылку водки, а из другого сало в шершавой серой бумаге, уже насквозь промаслившейся. Трифон холодно и насмешливо покосился, однако поднялся с места и достал с полки чайную чашку. Староста поднес сперва Мите, потом Трифону, потом Федосье, – она с удовольствием вытянула чашку до донышка, – и наконец налил себе. Выпив, он тотчас же стал обносить по второй, жуя ситник и раздувая ноздри.

Трифон довольно быстро захмелел, однако не потерял своей сухости и неприязненной насмешливости. Староста тяжело отупел после второй же чашки. Разговор принял по внешности характер дружеский, но глаза у обоих были недоверчивые, злобные. Федосья сидела молча, смотрела вежливо, но недовольно. Аленка не показывалась. Потеряв всякую надежду, что она придет, ясно видя, что это совершенно дурацкая мечта – рассчитывать теперь на то, что старосте удастся шепнуть ей «словечко», если бы она даже и пришла, – Митя поднялся и строго сказал, что пора ехать.

– Сейчас, сейчас, успеется! – хмуро и нагло отозвался староста. – Мне еще надо вам словечко по секрету сказать.

– Ну вот дорогой и скажешь, – сказал сдержанно, но еще строже Митя. – Едем.

Но староста хлопнул ладонью по столу и с пьяной загадочностью повторил:

– А я вам говорю, что доро гой этого нельзя говорить! Выйдите ко мне на минутку...

И, тяжело поднявшись с места, распахнул дверь в сенцы. Митя вышел за ним.

– Ну, в чем дело?

– Молчите! – таинственно прошептал староста, притворяя за Митей дверь и шатаясь.

– Об чем молчать?

– Молчите!

– Я тебя не понимаю.

– Молчите! Наша будет! Верное слово!

Митя оттолкнул его, вышел из сенец и остановился на пороге, не зная, что делать: подождать еще немного или уехать одному, а не то просто уйти пешком?

В десяти шагах от него стоял густой зеленый лес, уже в вечерней тени и оттого еще более свежий, чистый и прекрасный. Чистое, погожее солнце заходило за его вершины, сквозь них лучисто сыпалось его червонное золото. И вдруг гулко раздался и прокатился в глубине леса, где-то, как показалось, далеко на той стороне, за оврагами, женский певучий голос, и так призывно, так очаровательно, как звучит он только в лесу, по летней вечерней заре.

– Ау! – протяжно крикнул этот голос, видимо, забавляясь лесными откликами. – Ау!

Митя соскочил с порога и побежал по цветам и травам в лес. Лес спускался в каменистый овраг. В овраге стояла и ела баранчики Аленка. Митя надбежал над обрыв и остановился. Она снизу глянула на него удивленными глазами.

– Что ты тут делаешь? – спросил Митя негромко.

– Маруську нашу с коровой ищу. А что? – ответила она тоже негромко.

– Что ж, придешь, что ли?

– Что ж мне даром ходить? – сказала она.

– Кто ж тебе сказал, что даром? – спросил Митя уже почти шепотом. – Об этом не беспокойся.

– А когда? – спросила Аленка.

– Да завтра... Ты когда можешь?

Аленка подумала.

– Я завтра пойду к матери овцу стричь, – сказала она, помолчав, осторожно оглядывая лес на бугре за Митей. – Вечером, как стемнеет, и приду. А куда? На гумно нельзя, зайдет кто-нибудь... Хотите, в салаш в лощине у вас в саду? Только вы смотрите, не обманите, – даром я не согласна... Это вам не Москва, – сказала она, засмеявшимися глазами глядя на него снизу, – там, говорят, бабы сами плотят...

## XXV

Возвращались безобразно.

Трифон не остался в долгу, поставил и с своей стороны бутылку, и староста так напился, что не сразу сел на дрожки, сперва упал на них, а испуганный жеребчик рванулся и чуть не усакал один. Но Митя молчал, смотрел на старосту бесчувственно, ждал, пока он усядется, терпеливо. Староста опять гнал с нелепой яростью. Митя молчал, крепко держался, смотрел на вечернее небо, на поля, быстро дрожавшие и прыгавшие перед ним. Над полями к закату допевали свои кроткие песни жаворонки, на востоке, уже посиневшем к ночи, вспыхивали те дальние, мирные зарницы, которые ничего не обещают, кроме хорошей погоды. Митя понимал

всю эту вечернюю прелесть, но теперь она была совсем чужой ему. В мыслях, в душе стояло одно: завтра вечером!

Дома его ожидало известие, что получено письмо, подтверждающее, что Аня и Костя будут завтра, с вечерним поездом. Он ужаснулся, – приедут, побегут вечером в сад, могут побежать к шалашу, в ложину... Но тотчас же вспомнил, что со станции их привезут не раньше десятого часа, потом будут кормить, поить чаем...

– Ты поедешь встречать? – спросила Ольга Петровна. Он почувствовал, что бледнеет.

– Нет, не думаю... Мне что-то не хочется... Да и сесть негде...

– Ну, положим, ты бы мог верхом поехать...

– Да нет, не знаю... Собственно, зачем? Сейчас, по крайней мере, не хочется...

Ольга Петровна пристально посмотрела на него.

– Ты здоров?

– Совершенно, – сказал Митя почти грубо. – Я только спать очень хочу...

И тотчас же ушел к себе, лег в темноте на диван и заснул, не раздеваясь.

Ночью он услышал отдаленную, медлительную музыку и увидел себя висющим над огромной, слабо освещенной пропастью. Она все светлела и светлела, становилась все бездоннее, все золотистой, все ярче, все многолюднее, и уже совсем отчетливо, с несказанной грустью и нежностью, зазвучало и запело в ней: «Жил-был в Фуле добрый король...» Он затрепетал от умиления, повернулся на другой бок и опять заснул.

## XXVI

День казался бесконечным.

Митя как деревянный выходил к чаю, к обеду, потом опять шел к себе и опять ложился, брал с письменного стола уже давно валявшийся на нем том Писемского, читал, не понимая ни слова, подолгу смотрел в потолок, слушал ровный, летний, атласный шум солнечного сада за окном... Раз он встал и пошел в библиотеку, чтобы переменить книгу. Но эта прелестная своей стариной, своим спокойствием, видом из одного окна на заветный клен, а из других на светлое западное небо комната так остро напомнила ему те весенние (теперь уже бесконечно далекие) дни, когда он сидел в ней, читая стихи в старых журналах, и показалась такой Катиной, что он повернулся и быстро пошел назад. «К черту! – подумал он с раздражением. – К черту весь этот поэтический трагизм любви!»

Он с возмущением вспомнил свое намерение застрелиться, если не будет письма от Кати, и опять лег и опять взялся за Писемского. Но по-прежнему он ничего не понимал, читая, а порою, глядя в книгу и думая об Аленке, весь начинал дрожать от все растущей дрожи в животе. И чем ближе подходил вечер, тем все чаще охватывала, била дрожь. Голоса и шаги по дому, голоса на дворе, – уже запрягали тарантас на станцию, – все раздавалось так, как во время болезни, когда лежишь один, а вокруг течет обычная, будничная жизнь, равнодушная к тебе и потому чуждая, даже враждебная. Наконец где-то крикнула Параша: «Барыня, лошади готовы!» – послышалось сухое бормотание бубенчиков, потом топот копыт, шорох подкатывающего к крыльцу тарантаса... «Ах, да когда же все это кончится!» – пробормотал Митя вне себя от нетерпения, не двигаясь, но жадно слушая голос Ольги Петровны, отдававшей в лакейской последние приказания. Вдруг бубенчики забормотали и, бормоча все слитнее под звуки покотившегося под гору экипажа, стали глхнуть...

Быстро встав с места, Митя вышел в зал. В зале было пусто и светло от ясного желтоватого заката. Во всем доме было пусто и как-то странно, страшно пусто! Со странным, как бы прощальным чувством Митя взглянул в пролет растворенных молчаливых комнат – в гостиную, в диванную, в библиотеку, в окно которой по-вечернему синел южный небосклон, зеленела живописная вершина клена и розовой точкой стоял над ней Антарес... Потом заглянул

в лакейскую, нет ли там Параша. Убедившись, что и там пусто, он схватил с вешалки картуз, пробежал назад, в свою комнату, и выскочил в окно, далеко выкинув на цветник свои длинные ноги. На цветнике он на мгновение замер, потом, согнувшись, перебежал в сад и тотчас же вильнул в глухую боковую аллею, густо заросшую кустами акации и сирени.

## XXVII

Росы не было, не могли быть поэтому особенно слышны запахи вечернего сада. Но Мите, при всей бессознательности всех его действий в этот вечер, все же показалось, что он еще никогда в жизни, – за исключением, может быть, раннего детства, – не встречал такой силы и такого разнообразия запахов, как теперь. Все пахло – кусты акации, листья сирени, листья смородины, лопухи, чернобыльник, цветы, трава, земля...

Быстро сделав несколько шагов с жуткой мыслью: «А вдруг она обманет, не придет?» – теперь казалось, что вся жизнь зависит от того, придет или не придет Аленка, – уловив среди запахов растительности еще и запах вечернего дыма откуда-то с деревни, Митя еще раз остановился, обернулся на мгновение: вечерний жук медленно плыл и гудел где-то возле него, точно сея тишину, успокоение и сумерки, но еще светло было от зари, охватившей полнеба своим ровным, долго не гаснущим светом первых летних зорь, а над крышей дома, кое-где видной из-за деревьев, высоко блестел в прозрачной небесной пустоте крутой и острый серпок только что народившегося месяца. Митя глянул на него, быстро и мелко перекрестился под ложечкой и шагнул в кусты акации. Аллея вела в лощину, но не к шалашу, – к нему надо было идти наискось, взять левее. И Митя, шагнув через кусты, побежал целиком, среди широко и низко распростертых ветвей, то нагибаясь, то отстраняя их от себя. Через минуту он уже был на условленном месте.

Он со страхом сунулся в шалаш, в его темноту, пахнущую сухой прелой соломой, зорко оглянул его и почти с радостью убедился, что там еще никого нет. Но роковой миг близился, и он стал возле шалаша, весь превратясь в чуткость, в напряженнейшее внимание. Весь день почти ни на минуту не оставляло его необыкновенное телесное возбуждение. Теперь оно достигло высшей силы. Но странно – как днем, так и теперь, оно было какое-то самостоятельное, не проникало его всего, владело только телом, не захватывая души. Сердце, однако, билось страшно. А кругом было так поразительно тихо, что он слышал только одно – это биение. Беззвучно, неустанно вились, крутились мягкие бесцветные мотыльки в ветвях, в серой листве яблонь, разнообразно и узорно рисовавшихся на вечернем небе, и от этих мотыльков тишина казалась еще тише, точно мотыльки ворожили и заволакивали ее. Вдруг где-то сзади него что-то хрустнуло – и звук этот как гром поразил его. Он порывисто обернулся, глянул меж деревьев по направлению к валу – и увидел, что под сучьями яблонь катится на него что-то черное. Но еще не успел он сообразить, что это такое, как это темное, набежав на него, сделало какое-то широкое движение – и оказалось Аленкой.

Она откинула, сбросила с головы подол короткой юбки из черной самотканой шерсти, и он увидел ее испуганное и сияющее улыбкой лицо. Она была боса, в одной юбке и в простой суровой рубахе, заправленной в юбку. Под рубахой стояли ее девичьи груди. Широко вырезанный ворот открывал ее шею и часть плечей, а засученные выше локтя рукава – округлые руки. И все в ней, от небольшой головки, покрытой желтым платочком, и до маленьких босых ног, женских и вместе с тем детских, было так хорошо, так ловко, так пленительно, что Митя, видевший ее до сих пор только наряженной, впервые увидавший ее во всей прелести этой простоты, внутренне ахнул.

– Ну, скорее, что ли, – весело и воровски прошептала она, и, оглянувшись, нырнула в шалаш, в его пахучий сумрак.

Там она приостановилась, а Митя, стиснув зубы, чтобы удержать их стук, поспешил запустить руку в карман – ноги его были напряжены, тверды, как железо, – и сунул ей в ладонь смятую пятирублевку. Она быстро спрятала ее за пазуху и села на землю. Митя сел возле нее и обнял ее за шею, не зная, что делать, – надо ли целовать или нет. Запах ее платка, волос, луковый запах всего ее тела, смешанный с запахом избы, дыма, – все было до головокружения хорошо, и Митя понимал, чувствовал это. И все-таки было все то же, что и раньше: страшная сила телесного желания, не переходящая в желание душевное, в блаженство, в восторг, в истому всего существа. Она откинулась и легла навзничь. Он лег рядом, привалился к ней, протянул руку. Тихо и нервно смеясь, она поймала ее и потянула вниз.



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.